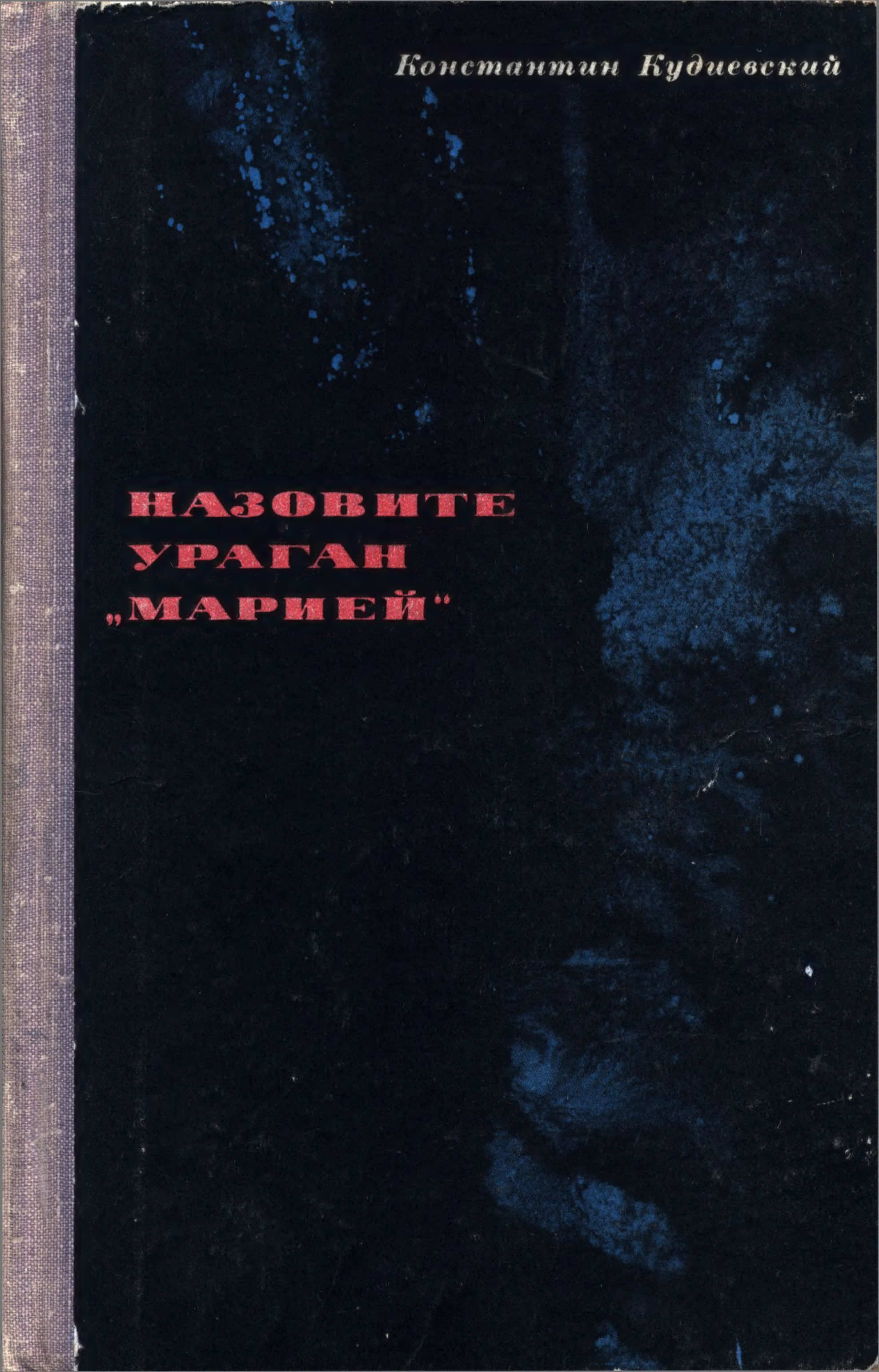


Константин Кудиевский
НАЗОВИТЕ УРАГАН „МАРИЕЙ“

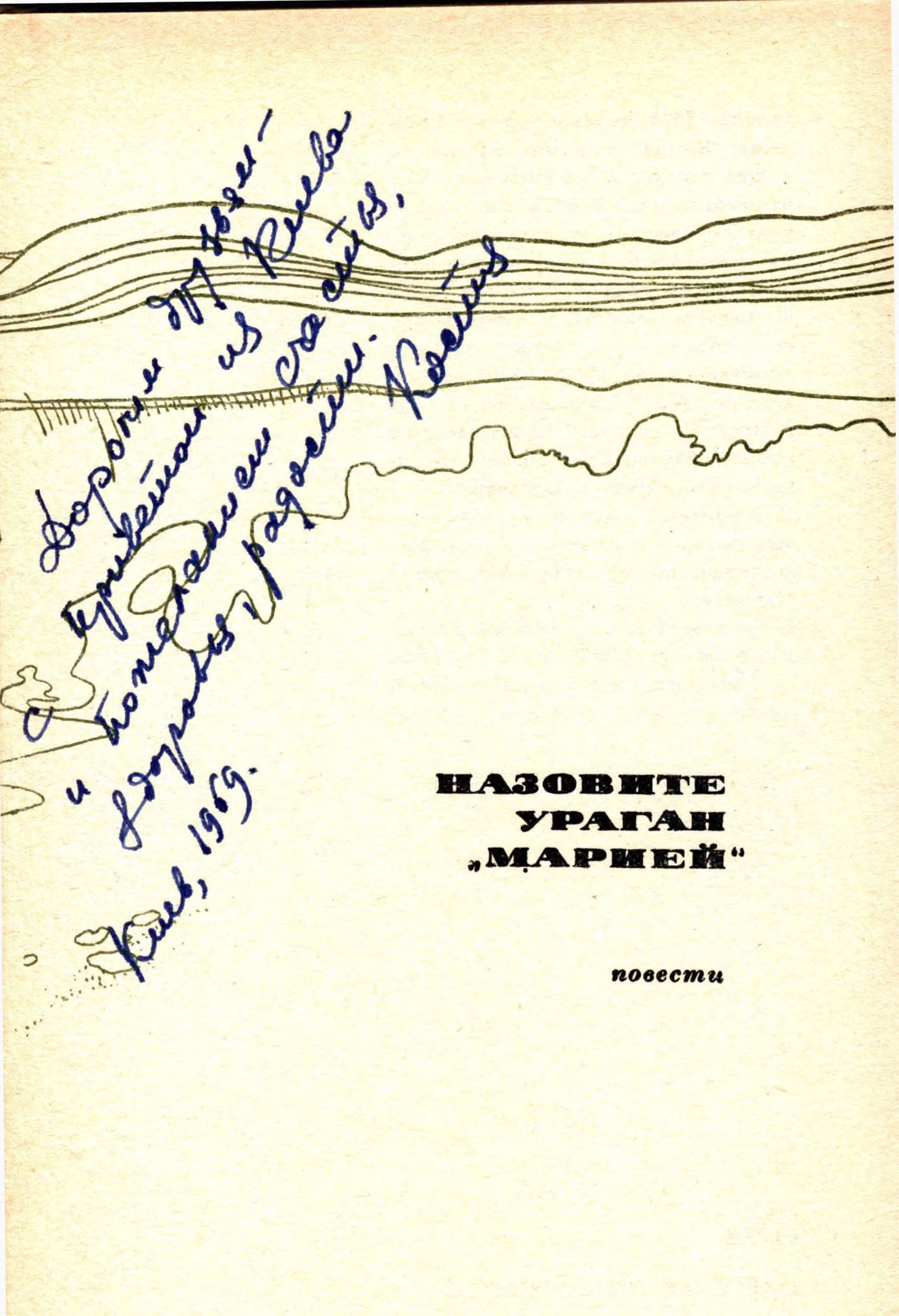
„РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК“



КИЕВ • 1969

Константин Кудиевский





НАЗОВИТЕ УРАГАН „МАРИЕЙ“

повести

Осенью 1920 года из Херсона к берегам Крыма, занятого Врангелем, вышел пароход с оружием для крымчан-повстанцев. Рейсом по поручению Херсонского уездного исполкома руководила коммунистка товарищ Мария. Задание партии было выполнено, корабль уже возвращался в родной порт, когда на борту приняли сигнал «SOS». Команда советского корабля пришла на помощь гибнущему судну. Спасены десятки жизней, однако сами красные моряки попали в руки врангелевцев.

О героизме, о верности долгу первых моряков советского флота рассказывает повесть «Назовите ураган Марией».

В повести «Падающий иней» рассказывается о глубокой драме человека, не имеющего ни крова над головой, ни родных, ни близких, ни родины.

Р2
К88

7-3-3
29-69М

ОДЕССКАЯ ТИПООФСЕТНАЯ
ФАБРИКА

ПАДАЮЩИЙ ИНЕЙ

повесть





1

Проснувшись, он вспомнил: на этом берегу очутился чисто случайно... В тот день его знобило с утра. Лежал съежившись и поджав колени, насколько могла позволить узкая корабельная койка. Втиснув между коленей ладони, пытался согреться. Но куртка, заменявшая одеяло, не грела; натянутая на лицо, она лишь мешала дышать. Болели глаза, чудился привкус меди, противный и кисловатый.

Кубрик был темный и душный — без иллюминаторов. Маленькая лампочка, оплетенная проволокой и потому еще более тусклая, светила расплывчато-мутно. На неубранном столе валялись объедки креветок, и от их запаха, приторно-пресного, его слегка подташнивало. Надоедливо поскрипывала койка. Где-то за переборками посапывала машина. А за спиною, прижатой к обшивке борта, устало и равнодушно шелестело море. И все это вместе — звуки, запахи, скучный свет — сливалось с ознобом и становилось однообразным течением времени, в котором трудно отличить реальность от забытья.

Забытье нарушалось лишь изредка, когда над кубриком проходил кто-нибудь по палубе. Гул шагов отдавался, казалось, не только в ушах, но и в суставах,

во всем теле. Эти шаги над головой причиняли физическую боль... Очнувшись, он силился вспомнить или хотя б угадать, который может быть час. Но думать было так же больно, как двигаться. И он опять смеживал веки и вновь погружался в тоскливую полудрему.

Он не смог бы сказать, сколько времени длится приступ. Ему казалось — множество дней и даже месяцев: с той зимней марсельской ночи... С моря дул влажный холодный ветер, и улицы, прилегающие к порту, были пустынны. Он бродил по ним, сунув руки в карманы, воткнув подбородок в поднятый ворот куртки: так было чуточку теплее. У него не было денег, чтобы пойти в ночлежку. После полуночи в порту он попытался забраться в кабину моторной лодки, но показался смотритель, и пришлось торопливо шмыгнуть за ближайший угол. И снова бродил по улицам, стараясь согреться движением, и ему чудилось, что в засыпающем городе становилось студенее с каждым погасшим окном. Набухшая влагой куртка холодила тело. Всякий раз потом, когда вспоминал он ту ночь в Марселе, в памяти прежде всего возникал панцирь куртки, жесткий от влаги и ветра. Именно от нее, наверное, исходил озноб.

Палуба над ним загудела от тяжелых ударов молотка. Видимо, там, наверху, рубили стальной трос. «Пароходишко все-таки старый, дрянной. Только и радости в нем, что не тонет. И ход имеет ползучий: лет двадцать, должно быть, не доковался. Но кок трижды в день кормит команду то супом, то отварною рыбой, а изредка и спагетти — почему же не плавать на этой посудине! Вот если б еще согреться...»

Он не знал, куда они шли. Спросить об этом в начале рейса поостерегся: любознательных не берут на работу. Да и, в конце концов, ему безразлично. Он обрадовался хоть временному пристанищу, койке в кубрике, регулярным завтракам и обедам. И как жаль, что приступ свалил его после первой же ночной вахты.

За последние годы он побродяжил изрядно. Из Западной Германии перебрался во Францию. Работал мусорщиком, мыл посуду в баре, убирал виноград. Если случались деньги, ночевал в дешевых гостиницах. Но подчас проводил ночи и под открытым небом. Он почти свыкся с такою жизнью. Если б не зимняя ночь в Марселе...

Италия после Франции показалась голодной и нищей. Здесь было труднее с работой, а заработанные деньги не стоили ничего. Многие итальянцы покидали родные места и в поисках заработка уезжали во Францию и в Германию — туда, откуда он прибыл. И потому, когда он справлялся где-либо, не нужны ли его руки, на него косились подозрительно и недоверчиво. Всюду он был чужим.

Приступы повторялись довольно часто. Теперь он с завистью поглядывал на окна чужих квартир. И хоть догадывался, что там, за окнами, тоже не так уж много радости, не мог побороть в себе желания очутиться под крышею, у огня, в устоявшейся тишине людского жилища. Сумерки вызывали тоску. В этих сумерках самым заманчивым и желанным казалось приглушенное мерцанье домашних светильников. Он завидовал людям, завидовал птицам и даже крысам, имеющим норы. Все тепло, что досталось ему от целого мира, умещалось в поднятом вороте куртки. Но его хватало только для подбородка.

Тогда-то он и решил попытать счастья в порту: хоть и не крыша, а все-таки палуба над головой. Для дальних плаваний требовалась мореходная книжка. Но это не огорчало: за двадцать семь лет своей жизни он столько успел повидать дорог, что уже не влекли никакие заморские дали. Любой каботаж, любая рыбацкая скорлупа, на которой имелись койка и палуба, тотчас же примиряли его судьбу и мечту. Он был один, совсем один — и потому соглашался на любую оплату. За это однажды его избили. С тех пор он старался в портах не сходить на берег.

И вот — ему снова не повезло... Пароходишко хоть и старый, но теплый, уютный. И команда собралась сносная: каждый сам по себе, никто не лезет тебе в душу. Правда, немного угрюм капитан,— но что за дело ему до того! Что ему, с капитаном койку делить?.. Проклятый озноб. Ночью опять на вахту — хватит ли сил? Согреться бы... Немного согреться! И выбросить за борт креветки: совсем не дают дышать.

По легкому крену он догадался, что судно повернуло на новый курс. Словно подтверждая догадку, тотчас же за спиной, где до этого мерно шумела вода, застучали незлобно в борт ленивые волны. «Интересно, куда

повернуло судно: к берегу или в море?» Но этот вопрос лишь скользнул в сознании, не завладев им: берег, какой бы то ни было, все равно не сулил ничего.

Духота становилась все более плотной, все более вязкой. Она с трудом проползла сквозь ноздри, она обжигала рот и гортань, и потому дышать приходилось отрывисто, часто, лишь краешком легких. Духота, казалось, распирала кубрик, давила на подволок, а заодно — и на уши, на грудь, на тяжелые веки глаз. Лампочка возле трапа все глубже погружалась в нее, мутнея и отдаляясь на самый край света, за топкие грани реального. Она уже не светила, а только туманилась, едва уловимо теплилась где-то за толщами спертого воздуха. Этот воздух, подсвеченный издали, чудился желтым и непроглядным, как илистая вода... Духота была почти видимой, она вздрагивала от каждого удара волны.

Не в силах больше бороться с ознобом и духотою, он покорно закрыл глаза. Какое-то время под веками еще плавала желтизна от лампочки, затем она начала расползаться, исчезать. А на смену желтизне возникали не то из памяти, не то из далеких снов белые нити каких-то призрачных трав... Высокие стройные травы уходили в небо, упираясь в его синеву. Покачиваясь, дробили, расчеркивали медвянистый солнечный свет, который опускался на землю, как золотистый туман. И сам он не был уже человеком, а лишь частицей белого призрака: то ли былинкой, то ли бесплодным семенем, затерянным где-то в глубинах белого океана... Он всегда пугался этого видения. Пугался потому, что в бредовых, потусторонних картинах, смутных и ускользающих, в иные мгновенья внезапно, как озарение, воскресали физически ощутимые,— хоть он их не знал и не помнил,— то запах прохлады и лиственной прели, то гуденье пчелы над цветочною россыпью, то утренний посвист неведомых птиц. Он узнавал и звуки, и запахи, хотя и не ведал, откуда они. В такие минуты чудилось, что он уже жил однажды на этой земле,— а может быть, и не на этой, на планете другой,— и именно оттуда, из прошлого, лежащего за межами людского срока, приходит незнакомое, но уже познанное. В проблесках той, непонятной, жизни сквозило столько покоя, как будто покой был летучей тенью счастья, которого в этой жизни он не нашел. Становилось жутковато. Но зато белый

сон заглушал настоящую боль. В него можно было прятаться как в спасение.

Вот и сейчас он забылся, погрузился в загадочный мир. Духота кубрика, ставшая неожиданно теплой и липкой, обволокла его, словно кокон, оградив, наконец, от озноба...

Проснулся он потому, что кто-то коснулся его плеча. С трудом повернулся, ощущая литую тяжесть и в теле, и в голове, даже на языке. Возле койки стояли боцман и капитан, а дальше, за ними, еще кто-то — кто, не мог разглядеть в полумраке кубрика. «Неужели проспал вахту?»— подумал с испугом.

Капитан виновато улыбнулся, точно извинялся за то, что потревожил больного.

— Ты, Ганс, не сердись...— промолвил он неуверенно и осекся. Беспомощно оглянулся на боцмана, ища у того поддержки. Боцман кивнул, и капитан, все еще не в силах согнать с лица вымученную улыбку, добавил: — Мы ведь ничего плохого тебе не хотели... Когда брали на судно, не спрашивали бумаг. Зачем нам бумаги? И так видно, что ты парень честный... Но эта болезнь... Сам понимаешь: если с тобой что-либо случится, неприятностей не оберешься...

Капитан говорил медленно, словно перед каждой фразой вновь набирался храбрости. В паузах между словами он — Ганс-отшельник и Ганс-молчун, как его за глаза величали в порту,— слышал неровное дыхание моряков. Их, видимо, так же, как и его, Ганса, смущала неожиданная робость капитана, которого привыкли видеть на мостике угрюмым и резковатым. Он даже посочувствовал капитану. А тот, отводя глаза, точно рассматривая стены кубрика, теперь уже вымолвил как-то сразу:

— Рядом удобная бухта с рыбацкой деревней. И мы решили высадить тебя, Ганс. Если случится худшее — мертвому легче вести разговор с полицией. Ну, а все обойдется — значит, не зря при рождении тебя крестили... И, ради всего святого, не обижайся на нас.

Капитан умолк — в кубрике повисла гнетущая тишина. Моряки не глядели на койку, но по дыханию их он догадывался и чувствовал: они ждут. Ждут, что ответит им он, Ганс-молчун... Но что он мог сказать? Он не мог обижаться: разве не приютили его, не согрели?

И разве кто-либо из них повинен в том, что он заболел? Он даже в силах понять их: у каждого своя судьба, а значит — и своя правда. И каждая правда — тоже ведь не из легких. Просьбы его или слезы лишь увеличили б горе этих людей.

Моряки напряженно молчали. Только сейчас, в тишине, он заметил, что машина уже не работает и судно стоит без хода. Тихо, чтобы не выдать последнюю надежду, спросил:

— Сейчас?

В ответ капитан лишь растерянно развел руками.

Цепляясь за края койки, Ганс осторожно, чтобы не рухнуть, спустился на пол. Закружилась голова, и несколько минут он стоял покачиваясь. Грязную пару белья хотел было сунуть в карманы, но раздумал и надел на себя. Непослушными, отяжелевшими пальцами долго зашнуровывал ботинки. Потом так же долго застегивал пуговицы. Когда застегнул на куртке последнюю, у самого горла, его едва не стошнило.

Капитан протянул небольшой пакет, объяснил:

— Здесь деньги, которые ты заработал. И еще немного: ребята собрали... А там,— кивнул на картонный короб из-под банок сгущенного молока,— консервы и сигареты. Воду найдешь в деревне. И да поможет тебе святая Мария!

По трапу пришлось подниматься почти ползком, держась не за поручни, а за ступени. Где-то на середине он задержался перевести дыхание. Оглянулся на кубрик. Лампочка была совсем рядом, у головы. Она светила по-прежнему тускло, но теперь ее свет показался уютным и притягательным, как светлые окна чужих квартир, к которым его тянуло в бездомные ночи. При взгляде на лампочку старая боль одиночества спазмой сдавила горло... У самого люка он оступился, но тотчас же его заботливо поддержали матросские руки. По этой заботливости, единодушной и несколько поспешной, Ганс догадался, что моряки все же чувствовали вину перед ним. Не случайно и боцман, и капитан, и матросы избегали встречаться с ним взглядами. И чтобы скорее покончить с этим, Ганс торопливо шагнул за комингс.

Он удивился, что уже ночь, что воздух над морем прохладный и свежий. Крупные звезды, отжимая едва

мерцающие туманности в глубину неба, подчеркивали его темноту. Такими же темными, как небо, были и море, и берег; в сгустившейся черноте, обрывающей контуры низких созвездий, угадывались горы. На них — то ниже, то выше — виднелись редкие купы огней уснувшего побережья.

В такую ночь хорошо стоять вахту. Приоткрыть рубочное окно, чтобы бодрила полуночная прохлада, и ни о чем не думать, лишь изредка поглядывая в компас. Все вокруг напоминает о вечности, о неизменности мира: и неподвижная темень уснувшего моря, и звезды — наверное, точно такие же, какими их видели наши прапредки тысячи лет назад. Они, эти звезды, всегда вызывали смутное ощущение величия человека. И в то же время подчеркивали его бессилие перед извечным течением времени. Все уже было на земле до него, до Ганса: скитания, войны, даже свершившиеся мечты. И ничто не осталось, ничто не прибавило человеку радости или страдания. На ближних берегах, что затерялись в ночи, рождались и отмирали религии, государства, цивилизации. А человек приходил в этот мир незаметно и, кем бы он ни был, опять уходил в забытье, не в силах себя пережить ни на одно мгновенье. Память не сохраняла не только его самого, но даже его поколения. Храмы, оазисы, города — все превращалось в пыль, в ту пыль, которую и доныне разносят ветры в пустынях. И если в каждой пылинке — прах городов и народов, где ж отыскать в ней след человека!.. И он, Ганс, и его сверстники — и те, кто счастливей его, и кто неудачливей,— все превратятся в пылинку, в пылинку, ничтожнее и незаметней, чем камень, брошенный на дорогу. Разве перед грядущими тысячелетиями век наш чем-нибудь лучше, нежели остальные? Вечно будут лишь море, лишь звезды да встречные огни кораблей. Так стоит ли роптать и надеяться! В конце концов, что человеку нужно? Крыша над головой, да кусочек овечьего сыру, чтоб не ворчало в желудке, да капля тепла. Хоть немного тепла! Как жаль, что палуба под ногами совсем отвердела от холода...

— Пора,— обронил капитан.— Как бы нас не снесло на камни...

Гансу помогли спуститься по штормтрапу — и несколько рук с палубы, и те двое, что были в шлюпке.

Шлюпку качнуло, и он торопливо присел на банку, чувствуя слабость в коленях. И тотчас же сверху, из темноты, раздался сожалеющий голос капитана:

— Ну, с богом. Не осуждай нас, Ганс.

Двое в шлюпке гребли молча. Молчал и он: что толку в словах! Все, о чем можно было сказать, выражалось в размеренном скрипе уключин.

Море лежало вокруг затаившееся, притихшее, ушедшее в сны или в думы. Потревоженное веслами, оно раздраженно всхлипывало и тут же поспешно глушило всплески дремучею тишиной. Время от времени в его глубине стремительно мелькали рыбы, оставляя на миг за собой, подобно метеоритам, фосфоресцирующий след. Море было для рыб их домом — их крышей и их теплом. Может быть, и ему обрести этот дом? Стоит лишь вывалиться за борт. В конце концов, ничего не изменится в мире: еще одна пылинка пронесется над ним, пронесется и сгинет, как сгинули миллиарды. А звездам, морям и пустыням, забывшимся от усталости, не все ли равно, сколько времени длится полет пылинки: сотни лет или двадцать семь? Для них это только ничтожная часть мгновенья, более краткая, нежели след в глубине, оставленный рыбой.

Лишь у берега море бодрствовало, ритмично выплескивая полусонные волны. Вместе с ними в шуршащую гальку ткнулась и шлюпка. Ганс поднялся, но один из матросов остановил его:

— Здесь вода, промочишь ноги... Сейчас переправлю тебя.

Он подставил спину, и Ганс обхватил его шею. Осторожно, нащупывая ногами дно, матрос вынес Ганса на берег. Следом за ними вышел и третий спутник. Опустив короб с продуктами, он оторвал от него крышку, сказал, обращаясь к Гансу:

— Садись на картон: камни ночью сырые.— И после паузы спросил:— Огонь у тебя есть? А то вот, возьми,— протянул зажигалку.

Это было все, чем двое матросов могли помочь своему товарищу. Какое-то время еще они неловко топтались рядом, затем тот, что вынес его на берег, тяжко вздохнул:

— Прощай, Ганс... Даст бог, все обойдется.

Шлюпка, развернувшись, тут же исчезла в темени.

В ней, в этой темени, удалялись и замирали удары весел. Потом он услышал, как засопела машина, но, сколько ни вглядывался во мрак, ничего различить не смог: видимо, судно на всякий случай уходило от берега без огней.

И сразу надвинулось небо, и смутные тени берега, а в волнах, до этого мерных и ласковых, вдруг появились враждебность и отчужденность. Он не ведал, есть ли поблизости люди, а гул в голове и тяжелый язык, который, казалось, уже не вмещался во рту, возвращали к действительности, не позволяли слиться с природой — и потому одиночество стало внезапной и новой болью. В эту минуту забвение мертвых было бы ему отрадней безмерной затерянности живого.

Где-то в море брели корабли с теплыми кубриками и каютами. А по ту сторону моря лежали берега Африки. Ганс никогда не бывал в африканских портах, и потому они представлялись ему по-детски наивно, книжно и сказочно: тропический зной, непролазные джунгли и полуголые люди, которым в избытке тепла не нужны одежды. А здесь, несмотря на август, болезненно стыли руки.

Снова его знобило. Он сидел согнувшись, вобрав голову в поднятый ворот куртки, прижав подбородок к коленям. Но это не помогало: холод все глубже просачивался сквозь спину, добирался до позвоночника, рождая мелкую неуемную дрожь. Чудилось, будто море размеренно нагнетает холод, выплескивая его с каждой волной, и нет от холода ни спасения, ни укрытья. Гансу было уже все равно — хватит ли теплых росинок в крови дожить до утра.

Он закрывал глаза — тогда тени, что обступали его, двоились, троились, множились, и темные космы мрака вдруг начинали метаться рядом, то падая, то взмывая, как множество черных мальчишеских змеев, подхваченных резким, порывистым ветром. Вместе с ними метались обрывки мыслей и ощущений, бессвязных и убегающих, не понятых, не угаданных; обрывки памяти, снов, предчувствий, каких-то смещенных времен и загадочных судеб — из настоящего, которого Ганс не знал, и прошлого, которого он не помнил. Все походило на бред — и в то же время не было бредом, ибо виделось четко и зримо, а сознанье помимо воли пыталось нащупать

какие-то связи, хоть Ганс и не пробовал в чем-нибудь разобраться... Он сидел неподвижно, боясь неосторожным движением разрушить крохотный сгусток тепла, еще сохранившийся под одеждой.

А черные космы перед глазами змеились по-прежнему, однако редея постепенно и проясняясь. За ними, уже посветлевшими, но еще туманистыми, все чаще угадывались, расплывчато и неясно, знакомые линии белых трав. Травы все ширились, разрастались и вдруг превратились в густое сплетение белых стеблей и ветвей, закрывших сразу и небо и горизонты. Белая пелена, молчаливая и студеная, окутала Ганса и невесомо повисла над миром. А с неподвижных белых ветвей срывалась и оседала на спину, на шею, на плечи искристая пыль — уже не ознобом, а жестким знакомым холодом.

2

Он очнулся, ощутив тепло,— и увидел солнце. Поднявшись над горами, оно успело расплавить в зное не только собственные края, но и бесцветное небо рядом. День рождался сухой и жаркий. Море щурилось, подслеповато моргало, не в силах взглянуть на солнце в упор. В ярком свете и отблесках моря открылись взору берег и зеркало бухты.

Горы лежали в утренней дымке, слегка розоватые и парящие. Лишь верхние контуры их, из-за которых и взошло солнце, виделись резко очерченными — неровные, зубчатые, со множеством острых вершин. От этих вершин опускались к морю почти отвесно обрывы и осыпи. Они окаймляли восточную кромку бухты рельефным обрубком-мысом.

Огибая бухту, горы затем отодвигались от берега, сглаживались, словно оставляя пологие склоны под виноградники. У ближнего склона, позади Ганса, лепились на кручах друг к дружке каменные жилища. Это и была, наверное, та деревня, которую упоминали на судне. От нее петляла к морю широкая вытоптанная дорога, с вырубленными в камнях ступенями в тех местах, где дорога круто срывалась вниз. Она выходила на берег в сотне шагов от Ганса и упиралась в рыбацкие шлюпки, вытащенные на сушу и завалившиеся набок.

А вправо тянулась неправильным полукружьем

линия берега — скалы, разрушенные ветром и временем, узкая россыпь гальки, намытой прибоем. Вдали — так же, как слева, — бухта кончалась мысом, но только пологим, серым и скучным от выжженных зноем трав. Берег в той стороне казался пустынным и необжитым. Его однообразие нарушал только красный от ржавчины корпус разбитого парохода, который высоким носом выполз на самую гальку; корма ж его уходила наклонно в воду, зияя черным провалом трюма и рваным железом. На пароходе не было мачт, но сохранилась надстройка с остатками рубки и мостика. Позади мостика из надстройки одиноко торчала труба.

О пароходе, о его судьбе сейчас не хотелось думать. Ганс радовался утреннему теплу. Он не решался пошевелиться, хоть тело давно затекло в неудобной позе, не решался подняться, боясь ощутить прохладу близкой морской синевы. Словно звереныш, выползший из норы и пригревшийся на солнцепеке, он наслаждался лучами, которые все чувствительней прогревали сквозь куртку и плечи, и спину, и все его существо. Ленивое блаженство обволакивало Ганса, и он впервые за многие дни улыбнулся — приветливо и бездумно.

Вокруг пробуждалась дневная жизнь. Где-то на горной дороге просигналил автобус, где-то, совсем далеко, на пределе слышимости, звонили колокола, а ближе, в деревне, блеяли козы да время от времени драл свою глотку осел, сердито и надоедливо, точно в порту суперкарго [1]. И все эти звуки — звон колокольный, плывущий над побережьем задумчивой грустью, и шелест моря, и даже ослиный рев — бодрили Ганса и помогали забыть хоть на время о горькой минувшей ночи, ибо естественно приобщали его к новому дню, к этому берегу, к людям, живущим здесь.

На его лице все еще светилась улыбка. Ганс подумал о том, что продуктов, пожалуй, хватит дня на четыре, и эти четыре дня он сможет погреться на солнце и отлежаться, забыв о вечной необходимости бродяжить, — попросту отдохнуть, впервые за долгие годы. А там — будь что будет! Уж больно красивы здесь бухта, и горы, кудрявые от виноградников, и этот далекий

---

[1] Суперкарго (англ.) — лицо, ведающее на судне грузом; в порту следит за погрузкой.

печальный звон. Наверное, люди окрест, слыша звон ежедневно, смягчаются сердцем и проникаются добротою друг к другу.

Услышав шаги, оглянулся. От деревни спускался к морю коренастый мужчина, босой, в незастегнутой грубоватой куртке, надетой на голое тело. Он, видимо, тоже заметил Ганса, потому что на миг даже замер: должно быть, от удивления и неожиданности. Потом, недобро нахмурив брови, свернул с дороги и направился к Гансу.

На вид ему было за пятьдесят. Давно не стриженные густые волосы наползали на уши, на темную от загара шею, изборожденную множеством мелких морщин. Такие же густые, с проседью, брови, низко нависшие над глазами, усиливали впечатление угрюмости человека.

— Ты, парень, откуда здесь появился? — недружелюбно спросил мужчина, разглядывая Ганса в упор. Затем он скосил глаза на короб с продуктами — и догадался. Быстро, словно хотел поймать с поличным, окинул взором — от мыса до мыса — море и, не обнаружив ни паруса, ни дымка парохода, в ярости заорал:

— Опять, значит, ночью высадили? За кражу? За драку с ножом?

«Неужели это случается часто?» — екнуло сердце у Ганса. А мужчина, точно сорвавшись на высокой ноте, внезапно понизил голос и с неприкрытой угрозой процедил:

— Вот что, парень: убирайся отсюда.

— Что там, Джузеппе? — окликнули его. К морю спускались еще четверо — с веслами и свернутыми парусами на плечах.

— Снова какой-то трамп [1] одарил нас, — указал мужчина на Ганса. — А я объясняю этому парню: ему здесь нечего делать!

Четверо подошли, с любопытством разглядывая пришельца. По их грубоватым от ветра лицам, по ревматическим пальцам рук не трудно было узнать рыбаков. Они не высказывали ни возмущения, которого, видимо, ждал мужчина, ни враждебности к Гансу. И это, должно быть, еще сильнее разозлило Джузеппе. С новым приступом ярости он бросил матросу:

---

[1] Трамп (междунар. морск. жаргон) — судно-бродяга, которое скитается по разным странам в поисках фрахта.

— Чтобы тебя через полчаса и близко здесь не было!

— Оставь его,— обронил один из рыбаков, по виду самый старший из четверых.— Слава всевышнему, тут еще нет таблички: «Частное владение синьора Джузеппе. Сидеть и стоять запрещается».

Рыбаки рассмеялись. Зато Джузеппе вскипел.

— А может, он связан с контрабандистами? Нагрянут таможенные чиновники — ни одна шлюпка не выйдет из бухты! Забыли, как в прошлом году всех, кто бывает в море, допрашивали в полиции? Нет, с меня хватит. Поэтому пусть убирается.

Видимо, зная характер Джузеппе, тот, что вступал в разговор, лишь с досадой махнул рукой. Рыбаки направились к шлюпкам, и Ганс проводил их тоскливым взглядом. Джузеппе же, едва они удалились, отрывисто произнес:

— Я сказал все. Убирайся.

Ослушаться было рискованно. Те четверо, что своим сочувствием зародили минуту назад надежду, уже оснащали шлюпки. Упершись ногами в камни, Ганс неуклюже поднялся, чувствуя скованность в онемевшем теле. Увидел обрывок старой сети, подобрал и начал прилаживать к коробу с продуктами. Слышал, как рядом нетерпеливо посапывает Джузеппе. И потому нарочито медлил, желая хоть чем-нибудь досадить обидчику. Когда, наконец, сеть, скрученную тонким жгутом, приспособил к месту и разогнулся, во взгляде его скопилось столько презренья и ненависти, что Джузеппе невольно попятился. Он с опаской следил за Гансом, который сунул руку в карман. Но Ганс достал сигарету, неторопливо закурил. Лишь после этого повернулся и молча побрел вдоль берега, таща за собой на обрывке сети короб с продуктами.

— Не вздумай соваться в деревню!— крикнул вдогонку Джузеппе.— Учти: своих собак мы не кормим.

Но и теперь, когда на Джузеппе и на деревню было ему наплевать, не оглянулся и промолчал. Недаром в порту ему дали прозвище: Ганс-молчун...

Солнце, недавно ласково гревшее спину, накаляло камни и небо. Колер моря сохранялся лишь в бухте, а дальше голубизна его блекла, сливаясь с мерцающей белесоватою дымкой, в которой плавился горизонт. Со

склонов гор тянуло плотною преснотой сухой горячей земли и перегретых кустарников.

День наливался зноем. И точно так же опять наливались тяжестью горькие думы Ганса. Берег не принял его — как тысячу раз в минувшем. Люди — враги, люди всегда — чужие. Каждый, кто имеет берлогу, всегда ненавидит тех, кто скитается без жилья. Люди не верят друг другу, и это рождает страх. Страх за свою нору, за кусок мяса и за детенышей. Оградить свой кусок, по мнению людей, можно лишь силой. Но где ее взять, в одиночестве, силу! А чтобы казаться сильным, человек за много веков постиг одно только средство, жестокость. Жестокостью прикрывают слабость, трусость, отчаяние. Ей придумано множество оправданий — от примитивных, в которые верят мальчишки, до мудро-возвышенных, возведенных в ранг армейских уставов, державных законов и постулатов религий. Разве Джузеппе, который прогнал его, Ганса,— первый или последний? В конце концов, этот берег такой же жестокий, как закоулки Неаполя, причалы Гамбурга, портовые ночлежки Марселя.

У каждого своя тропа — и каждый на этой тропе один. А все, чем нерадостна жизнь,—случается на перекрестках. И потому — подальше от перекрестков. Бог с ней, с деревней: это чужая тропа.. А он, Ганс-отшельник, снова бредет по своей.

Он подошел к разбитому пароходу, чтобы передохнуть в тени его высокого корпуса. А может, совсем здесь пока остаться? Зачем идти дальше? Куда? Во всякой деревне, что встретится на пути, его не ждут, как и в этой. Добраться до города, снова искать работу? Снова бродяжничать? Нет, он должен отдохнуть от людей. В конце концов, у него есть продукты. И даже немного денег. Может же стать он свободным хоть на несколько дней!

Пароход — совсем не плохое пристанище. Пусть холодный, пусть неживой. Есть все же палубы, есть помещения, что укроют от ветра, даже иллюминаторы кое-где сохранили стекло. А вот и штормтрап свисает с борта: видать, нередко сюда забирались окрестные жители, растаскивая остатки судна.

Подтащив поближе короб с продуктами и оставив его в тени, Ганс осторожно, пробуя на штормтрапе

прочность каждой балясины, взобрался на борт парохода под ногами гулко вздрагивало железо — эхо шагов замирало где-то внутри, в черных вымерших трюмах. Крышки люков и двери надстройки были сорваны и, очевидно, унесены или сброшены в море. Из люков кисло тянуло запахом ржавчины и застоявшейся тухлой воды.

Шаткие трапы вели на верхнюю палубу. По обоим краям ее торчали изогнутые шлюпбалки, развернутые в разные стороны, а рядом с трубою — раструбы вентиляторов. Через один из них Ганс попытался заглянуть в машинное отделение, но взгляд уперся в почти отвердевшую темень.

Как ни странно, но в рубке сохранилось штурвальное колесо. На медном его ободке, позеленевшем от времени, Ганс разобрал название судна и порт приписки: «Виктория», Глазго. «Значит, корабль при жизни плавал под Черным Джеком»[1].

С мостика хорошо просматривались не только берег и склоны гор, но и деревня. Домики тесно лепились к скалам, друг к другу, нередко срастаясь общими стенами. Кое-где лениво вились дымки, а в крошечных двориках сушились вместе с бельем паруса и сети, бродили пятнистые свиньи, вспугивая кудахчущих кур. Люди появлялись не часто: видимо, прятались от жары или работали на виноградниках. А виноградники цеплялись за склоны гор сразу же за деревней — маленькими клочками зелени, отделенными друг от друга дымчатыми зарослями тамариска. Деревня казалась тихой и безмятежной, почти идиллической, и только воспоминания о Джузеппе не позволили Гансу залюбоваться ею. Он перевел взгляд на море. На гладком ослепительном зеркале бухты покоились, точно прилипнув, рыбацкие лодки. Мужчины в них, наклонясь к воде, ворожили над переметами или сетями. И Ганс в какой-то миг почувствовал себя гораздо счастливее этих людей. Он мог сейчас не гнуть, как они, спины, наслаждаться бездельем, покоем, теплом, забыв хоть на несколько дней обо всех заботах, какие есть на земле... Еще раз взглянул на море и начал спускаться с мостика, чтобы найти себе закуток для жилья.

---

[1] Черный Джек (междунар. морск. жаргон) — английский флаг.

Жилой коридор в надстройке, узкий и темный, в корму уходил, как и весь пароход, наклонно. Где-то в конце его тускло чернела вода. Было чуть-чуть жутковато от мертвой заброшенности и неподвижности, от пустоты, которая с каждым шагом и каждым шорохом рождала в ответ из темени тоскливые непонятные звуки. Гансу чудилось, будто за переборками, в трюмах и кубриках, обитает, дышит и движется кто-то еще, невидимый, может быть, даже бесплотный, ибо ржавый корпус «Виктории», простоявший здесь одиноко немало лет, мог служить в равной степени и чьим-то жильем, и чьим-то могильным склепом.

С трудом отогнал навязчивые мысли. Нарочито громко, чтобы раздробить тишину, начал обследовать помещения.

Большинство кают было разгромлено и разграблено: сорваны двери и койки, выбиты иллюминаторы. И лишь углубившись в коридор, Ганс наконец наткнулся на дверь, которая не поддавалась. Долго возился с ней. Пришлось подниматься снова на мостик, искать что-нибудь увесистое. Найденным там болтом он затем, возвратившись, долго оббивал ржавчину в пазах двери. Много раз всем телом наваливался на дверь, пока она, заскрипев обветшалыми петлями, нехотя отворилась.

Здесь похозяйничали не так разбойно, как в предыдущих каютах. Сохранились койка и столик и даже шкафчик, хоть и с оторванными створками. Иллюминатор был наглухо задраен, и сколько ни пытался Ганс, орудуя все тем же болтом, сбить завинченные барашки, они не сдвигались, точно их приварили намертво. «Ладно, потом»,— решил Ганс. Он присел на койку, стал разглядывать свое новое пристанище. Все вокруг было покрыто слоем слежавшейся пыли. «Нужно набрать сухих водорослей,— подумалось Гансу,— и все здесь как следует вычистить. Заодно настелить водорослей на койку. А сейчас — все же открыть иллюминатор: воздух в каюте тухлый, как в старом погребе».

Над койкой, плотно забитая пылью, висела в рамке картинка. Видимо, ее забыл прихватить с собою прежний владелец. Ребром ладони Ганс осторожно сгреб пелену многолетней серой коросты и увидел обнаженную женщину. Ее лицо — белокурой обворожительницы с припухлыми крашеными губами и акварельной

голубизною глаз — заучено улыбалось на постаменте собственных грудей, бедер и ног. Таких стандартных красавиц Ганс перевидел множество: и на рекламах, и на журнальных обложках, и на открытках в матросских кубриках. И всегда скользил равнодушным взглядом по белозубым улыбкам и розоватым от типографской краски телам. Но сейчас находка обрадовала его. Женщина, даже рисованная, привносила в захламленную каюту частицу обжитости, напоминала в этой стальной коробке, забытой людьми и богом, о той незнакомой жизни, к которой время от времени властно тянуло Ганса. Теперь уже рукавом, он старательно вытер остатки пыли, невольно жалея женщину, которую, бросив здесь, обрекли на долгое одиночество. Что ж, теперь они будут вместе. Двое бездомных и всеми забытых.

Когда, после многих усилий, он открыл иллюминатор, в каюту ворвался щедрый солнечный свет, а вслед за светом — свежесть моря и солнца. «Я скоро вернусь,— подмигнул ободряюще женщине Ганс.— Только соберу водорослей».

Палуба судна, надстройка, отвесные стены бортов — вся эта груда железа дышала жаром. Жгло ступни ног — даже через подметки, жгло в носу и в гортани при каждом вдохе. Наверное, в этот час спрятаться было трудно: зной струился над морем, над берегом, над склонами гор. Свежесть, минуту назад ворвавшаяся в каюту через открытый Гансом иллюминатор, здесь растворялась в горячем воздухе без остатка. Бухта ослепительно била в глаза медлительным переливом солнечных бликов.

Окунувшись в эту жару, Ганс подумал о том, что надо бы позаботиться о воде; но раньше следовало приняться за консервы, чтобы освободить посуду. «Приберу каюту, затем займусь своими припасами». Одолевало желание выкупаться, однако пугало, что может снова начаться озноб.

Он подошел к штормтрапу — и обомлел: внизу несколько псов терзали короб с продуктами. Зубами, когтями они рвали пачки с галетами, жадно обнюхивали консервы, не зная, как подступиться к ним.

— Пшли!—закричал испуганно Ганс. Псы, которых словно хлыстом стеганул неожиданный крик, метнулись панически в стороны, присев от испуга на задние лапы. Но тут же, очнувшись от внезапного страха,

остановились. Глядя на человека с открытой ненавистью, угрожающе зарычали.

В руке у Ганса все еще находился болт, которым орудовал он в каюте. Не помня себя от ярости, он швырнул этот болт в рычащие морды и оскалы клыков. Взвизгнув, псы шарахнулись от короба. Лишь почуяв себя в безопасности, они неторопливой рысцой, то и дело оглядываясь, отбежали подальше от парохода и уселись там полукругом, издали наблюдая за Гансом и время от времени хрипло и злобно лая.

Ганс не мог объяснить, почему ненавидел и боялся собак. Даже комнатных, даже болонок. Стоило увидеть ему раскрытую пасть с розовым языком, желтые с черным собачьи глаза, тотчас же чувствовал, как немеют ноги, прирастают к земле, хоть в таких случаях всегда хотелось бежать без оглядки.

Временами ему казалось, что между ним и собаками существуют какие-то давние счеты. Когда эти счеты возникли, Ганс не помнил: быть может, в далеком прошлом, когда собаки еще были волками. С тех пор собачьи глаза вселяли в него животный ужас, и всякий раз, повстречав их, он чудился сам себе затравленным беззащитным звереныщем. «Надо бы набрать побольше камней на палубу,— подумал невесело.— Все-таки защита...»

Он спустился на берег, соображая, как втащить по штормтрапу короб с продуктами. Кое-что, конечно, можно рассовать по карманам... Но едва он стал подбирать разорванные пачки галет, как псы опять зарычали. Хоть и с опаской, и трусовато, они приближались снова: видимо, псы не могли примириться с тем, что у них отнимают случайный лакомый кус. Ганс поднял камень, не целясь метнул. Но теперь собаки не бросились врассыпную, как прежде,— они еще злее оскалили пасти, следя напряженно за каждым движением человека. И вдруг он понял, что едва направится к трапу, как вся эта свора бросится на него.

Сунул в карманы подобранный снова болт и несколько голышей; конечно, карманы были нужны для галет, но выбора у него не оставалось. Банки с консервами он попросту забрасывал на пароход через борт, рассчитывая, чтобы они не попали в открытые люки. Слышал, как банки по палубе скатываются к надстройке. Псы

по-прежнему следили за ним, провожая каждую банку, летящую с берега наверх, жадным голодным взглядом.

Теперь можно было и отступать. Зажав по камню в каждой руке, Ганс начал медленно пятиться к трапу. И так же медленно, все еще трусовато, двинулась к пароходу свора. Шерсть на собачьих загривках ощетинилась, из уголков ощеренных ртов капала плотоядно слюна. Псы уже не рычали, а лишь хрипели, и этот хрип клокотал у них в горле, словно вода в закипевшем котле. «Может, поджечь короб и оградиться огнем?» Однако возвращаться к коробу было рискованно...

Спиною Ганс почувствовал стену борта, отвесные тросы штормтрапа. «Успею на безопасную высоту? Пожалуй, нет... Освободить поскорее руки, иначе сорвешься в самую гущу стаи».

Раздумывать было некогда. Нацелясь в крайних собак, он послал в них один за другим оба камня. И тотчас же стремительно прыгнул на трап. Услышал, как свора взорвалась лаем, как позади надвинулось храпом дыхание псов. «Скорее, скорее!» Резко рванулся наверх — и вдруг ощутил, как хряснула надвое под ногою балясина. В тот же миг по ноге скользнула острая боль, затрещала распоротая штанина, и Ганс едва не сорвался, одернутый тяжестью пса, вцепившегося в него.

Повиснув на одной руке, он выхватил из кармана все тот же болт и с размаху запустил его. Болт глухо ударился в серую спину. Пес взвизгнул, пронзительно заскулил и медленно пополз прочь, таща по камням непослушное, сразу обмякшее тело. Свора замерла, не понимая, что происходит. И этого времени Гансу хватило, чтоб одолеть оставшиеся ступеньки и перевалиться через фальшборт на палубу.

Обида душила его, на глаза навернулись слезы. «Гадины! Звери!»— всхлипывал Ганс, вытирая разорванною штаниной кровь... За что они ненавидят его? И люди, и звери? За то, что он не имеет своей норы и вынужден вечно скитаться в поисках временного пристанища? Или, завидя его, всякий — и человек, и зверь — боится, прежде всего, за собственную берлогу? Что ж, быть может, они правы... Каждый, наверное, должен иметь над собою если не крышу — хотя бы небо, свое, родное. А в Германии он такой же чужой, как всюду. Там тоже у каждого своя скорлупа.

Таких, как он, большинство. Всем приходится драться самим за себя. За свой хлеб, за свое жилище. И, значит, не всякая крыша приносит радость. Какая уж тут радость, если из-за нее, этой крыши, нужно бояться и ненавидеть каждого встречного!

С тоскою Ганс подумал о том, что крыша не спасает от одиночества — порою даже усугубляет его. Вот и он сегодня дрался с псами за свой кусок хлеба. Что ж удивляться, что псы ненавидят его! Он ненавидит их в такой же мере... Он и собаки дрались, по сути, как равные. И каждый уполз в свою сторону зализывать раны.

Вытерев кровь, Ганс, прихрамывая, поднялся. Надо было собрать консервы и вместе с галетами, пачки которых носили следы когтей, снести в каюту. Прибрать ее, позаботиться о воде. И запасти побольше камней на палубе: кто знает, от кого и как ему придется еще отбиваться.

Вдали по берегу уходила к поселку псиная свора. Уходила лениво и нехотя, мелкой рысцой. А вслед за сворой, в сотне шагов позади нее, ползла по камням собака, которую он ударил болтом. Ползла поскуливая, таща из последних сил перебитую спину. Но своре уже не было дела до этой собаки, хотя в недавней погоне за Гансом она была первой — смелее и ловче всех. Глядя на нее, Ганс невольно вспомнил свою болезнь, высадку ночью на берег, угрозы Джузеппе. И внезапно почувствовал жалость к смертельно раненному врагу: ведь ему, Гансу, так же, как этой собаке, суждено околеть в одиночестве.

3

К вечеру засвежело. Море наполнилось хмурою синевою, шумно накатывалось на берег, врываясь упругими волнами в искромсанную корму парохода. Там, внутри судна, волны гремели кусками бортов и остатками палуб, расшатывали со скрежетом последние переборки и, нагромившись досыта, глохли и замирали в трюмах. Но тут же, на смену затихшим, врывались новые, били в развороченные отсеки, словно в пустые железные бочки. Корпус «Виктории», изъеденный ржавчиной, вздрагивал и стонал.

Но это теперь не страшило Ганса. Каюта была чисто прибрана, а койка, вымощенная сухою морской травой, превратилась в довольно сносное ложе. Банки с консервами покоились в шкафчике, разнообразя серую однотонность пестрыми этикетками; куртка висела над дверью; через неплотно прикрытый иллюминатор просачивалась прохлада, смешивая воедино запахи моря, одежды и сигарет. И все это вместе создавало облик подлинного жилья. «Сюда бы еще транзистор,— подумал Ганс.— Тогда бы — совсем благодать!»

Женщина на картинке по-прежнему улыбалась. Видимо, радовалась тому, что в каюту вернулась жизнь.

Время от времени Ганс останавливался возле иллюминатора. Берег за ним простирался пустынно и голо, теряясь в далеких сумерках, что уже начали сгущаться у подножья гор. Лишь там, где спускалась к морю тропа из поселка, снова вповалку спали рыбацкие шлюпки. Сам же поселок прятался — то ли от Ганса, то ли от ветра — закрытыми створками дверей и окон. Но Ганс и сам не жаждал встретиться с ним опять. В течение дня, после драки с псами, он несколько раз спускался на берег: за водорослями, за коробом, за камнями. Однако, покончив с делами, втащил за собою трап, отрезав или, во всяком случае, затруднив дорогу на палубу для всяких незваных гостей. И теперь в обретенном жилье наслаждался оторванностью от мира, от всех его тревог и забот. Рокот моря и ветер, который скользил по наружному борту, только усиливали ощущение прочности и незыблемости покоя в каюте.

Солнце изрядно нагрело корпус «Виктории» за день — в каюте было тепло. Ганс разделся, с блаженством вытянулся на койке. Увидел рядом на переборке сияющую наготу женщины... Как попала она сюда, и кто ее здесь оставил? Где, под какими звездами живет она ныне? Счастлива ли, так же улыбчива, как на картинке? Или распродала свою наготу, создающую праздник в каюте, рекламным бюро и подвыпившим морякам?.. Трудно бороться за место в жизни, ох как трудно! А женщине — и подавно.

Быть может, судьба этой женщины так же печальна, как участь «Виктории». Была и у судна завидная доля. Моря и родные гавани, сверкание трапов, изящество мачт. Нарядные флаги на реях и гафеле. Сколько

влюбленных матросских взглядов знала «Виктория», прежде чем ткнуться навечно в берег пустынной бухты!.. Все-таки лучше, когда корабли погибают в пучине. Тогда они навсегда остаются в памяти гордыми и красивыми. А старость, догнивающая у причалов, рождает нерадостные раздумья.

Из «Виктории» вновь не возникнет ничто — и люди потеряли к ней интерес, как теряют ко всякой старости, исчерпавшей себя. Старость обладает лишь прошлым, а прошлое привлекает к себе людей только в случаях, если на нем, этом прошлом, можно еще заработать... Потому и случилось, что он, Ганс, пожалуй, единственный человек на земле, которому дороги останки «Виктории». Да и он ведь не бескорыстен! Не прогони его Джузеппе, он тоже прошел бы мимо старого судна. Вот и выходит, что у людей — даже таких одиноких, как он,— чувства диктуются обстоятельствами.

И все-таки счастлив тот, кто имеет возможность и право хранить верность. К судну ли, к женщине, к небу над головой! Верность, рожденную дружбой, родством или просто привязанностью. Долгом или любовью.

Верность всегда очищает, делает человека сильнее и благороднее. Только она способна вести на подвиг, равно как и на костер. А в тяжкие минуты согревать сердце, заглушать сомнения и воскрешать надежду, придавать упорства и сил. Верность приобщает людей к величию, может быть, даже — к святости... Есть и еще одна сущность верности, приносящая счастье. Она заключается в том предмете, которому человек предан, в прочности и глубине их обоюдных связей...

Раздумывая в сумеречной каюте, Ганс огорчался тем, что ему самому некому и нечему было хранить верность. Ни с миром, ни с кем-нибудь из людей не имел он связей, которыми дорожил бы. Не знал и не помнил дома, откуда начинались пути и куда бы тянуло вернуться снова; не ведал близких, равно как и не помнил хотя бы чужой улыбки, согревшей его на бесчисленных перекрестках. Всегда и всюду он был один, и им одним замыкался круг и помыслов, и горестей, и тревог. А как хотелось ему порою о ком-то заботиться, кому-то доставить радость существованием — и точно так же в жизни иметь нечто более важное и значимое, нежели сам он... Ганс никогда бы не предал ни женщину, что

улыбалась ему с переборки, ни дерево, ни травинку, будь она у него. Но в настоящем не породнился он даже с травинкой, а прошлое стерлось и растерялось на долгих дорогах.

Дороги приучали не вспоминать минувшее и не мечтать о будущем. Жить лишь сегодняшним днем. И потому все раздумья Ганса сейчас невольно вертелись вокруг «Виктории», корпус которой размеренно сокрушали волны.

Ветер над морем усиливался — и вместе с ветром усиливался прибой. Вздрагивал берег, вздрагивала каюта, и, точно в агонии, судорожно вздрагивала корма, раздираемая валами. В грохоте не было пауз даже между ударами волн: в такие мгновения гул не смолкал, а только спускался на низкие ноты. Когда стемнело, грохот с кормы сместился, приблизился, надвинулся на каюту со всех сторон; темень вокруг превратилась в смешение звуков — таинственных, напряженных и нервных. Казалось, «Виктория» ожила и сразу наполнилась шепотом чьим-то, шагами, рыданьями, вздохами. Кто-то бродил в коридоре, кто-то бранился на палубе, кто-то толкался в двери, жалобно всхлипывая.

Порой Гансу чудилось, будто скребутся в каюту. Приподымаясь на локте, он торопливо хватал со столика болт и так замирал, готовый к любой неожиданной схватке. Его успокаивал посвист ветра. Ложился опять и опять напряженно вслушивался в хаос звуков.

Ганс не был суеверным или трусливым. Однако, как ни старался уснуть, в памяти то и дело всплывали всякие небылицы, которых в портовых ночлежках наслушался вдоволь. О душах погибших матросов, томящихся в мертвых кубриках. О капитанах, не пожелавших покинуть корабль и в пучине. Об осьминогах, что поселялись в останках судов и в шторм выползали на палубу в поисках жертвы... Да мало ли их было, моряцких бредней! На берегу над ними посмеивались, хотя в кабаках всегда находились матросы, что видели это своими глазами, охотно могли за бутылку вина поведать сотню подобных историй, клянясь в их правдивости чем угодно: мадонной, удачей своих капитанов и собственными детьми, которых не видели от рождения. В кабаках такие побасенки служили платой за угощение. Здесь же когда-то услышанное наполнялось иным

содержанием, иною степенью достоверности. Ветер, вымерший берег, непроглядная темень; одиночество человека, его беспредельная затерянность и под небом, вместе с «Викторией», и в этой пустой коробке, добрая половина которой, с кормы, раскрыта настежь глубинам: вползай, заплывай, хозяйничай, любое чудище! А рядом с каютой, сверху и снизу,— гудящее месиво мрака, гнилой воды, издыхающего железа и неразгаданных звуков... На «Виктории» было все, что нужно для чертовщины. И если жуткие истории, о которых болтали на берегу, в действительности никогда не случались, они могли случиться сегодня, в этой пустынной бухте.

Подобные мысли невольно одолевали Ганса. Воспаленному воображению чудились то шуршащие движения щупальцев спрута, то размеренные и плавные, как далекий колокольный звон, шаги моряков-мертвецов. Кто-то все время отдраивал люки из машинного отделения, затопленного водой, кто-то таинственно вздыхал, словно так же, как Ганс, тосковал по иному пристанищу и покою.

Несколько раз он совсем уже было решал побороть свой страх, выйти на палубу, осмотреться. И всякий раз удерживало опасение, что затем не найдет в себе смелости вернуться обратно в темень, в гудящий жилой коридор. Да и как отыщешь в этом кромешном мраке каюту? Коротать же остаток ночи на палубе, продуваемой ветром, было еще страшнее: ко всему, что мерещилось и угнетало здесь, там, наверху, прибавился б холод, а вместе с ним и озноб. «Нет, только не это,— поежился Ганс.— Лучше уж породниться с призраками...»

Свежий ветер переходил в шторм. Уже гремела не только корма парохода, но и весь его корпус. Гудело небо, гудел приглушенно берег, гудели горы вокруг. Ревущий прибой с шумом ворочал камни, вдали у мыса особо тяжелые волны обрушивались на скалы — тогда над бухтой прокатывался тупой и короткий гул, словно палили орудия.

Где-то за частоколом гор неистовствовала гроза, и небо в той стороне вспыхивало зарницами молний, высвечивая на миг насупленные хребтины вершин, полуночный берег, даже каюту. В отсветах молний попрежнему улыбалась на переборке женщина, неподвластная ни страху, ни стоголосой свирепости шторма: за

долгие годы одиночества здесь, на «Виктории», наслушалась и не таких свистоплясок! Она смотрела на Ганса доверчиво, чуть смущенно, смотрела не только глазами, но и полураскрытым ртом, обнаженными бедрами, слегка удивленными зрачками сосков.

Как ни странно, облик улыбчивой женщины на картинке, время от времени освещаемой отблесками далеких молний, немного успокоил Ганса. Натянув на голову куртку, он заставил себя закрыть глаза.

Звуки шторма — и близкие, и отдаленные — постепенно вытягивались в одну сплошную мелодию, бесконечную и унылую. Она текла сквозь корпус «Виктории», сквозь каюту, сквозь Ганса, отдаваясь в тяжелой от усталости голове расплывчатым надоедливым гулом. Этот гул сливался все чаще и чаще с непрочной, прерывистой дремотой...

Ветер, что не смолкал и в сонных ушах, натаскивал с моря куски тумана. Туман, густой и слоистый, набивался в каюту, отсекая «Викторию», а вместе с нею и Ганса, от берега, от людей, от всего, что еще копошилось в памяти. Новый мир — неведомый, но знакомый — опять обволакивал Ганса, и трубные посвисты шторма мягко и незаметно погружались в белую тишину. Они, эти посвисты, летели теперь над палубой бесшумно, как облака.

Клочья тумана в каюте обретали контуры стеблей и ветвей, расчесывались, распрямлялись — и вот уже белые травы превращались в белые рощи — сплошные, дремучие, непролазные. Тени ветвей, узорные, словно сказка, отпечатывались матовым серебром на круглом стекле иллюминатора.

Роща неподвижна, точно она в рисунке. Не маслом, не акварелью — карандашом. Лишь карандаш способен выпятить, подчеркнуть настоящую белизну: в красках для этого слишком много правдивости. Той правдивости, что затмевает правду... Четкие штрихи стволов и кустарников создавали объемную глубину, уводящую в неизвестные дали. Там, в этих далях, снова угадывались белая стынь да непрочная тишина в задумчиво неподвижных кронах.

Когда временами Ганс просыпался и вновь его оглушало гудение шторма над морем и над каютой, ему начинало казаться, что в белых снах он кое-что знает.

Нет, он не знал названий предметов, однако каким-то подспудным чувством, почти инстинктом, угадывал, как названия эти должны звучать. По виду, по звукам, которыми были наполнены рощи, по собственному восприятию наконец — восприятию не разумом, а чутьем. Угадывал, хоть подобных слов не встречал ни в одном языке, которые понимал...

Белый пласт похрустывал под ногами: скр... скр... И как-то вдруг возникало и прояснялось на миг неожиданное созвучие: скрри-пу-чий... Почему — скрипучий? Что такое — скрипучий? И что значит слово, которое то и дело рождалось в обрамлении белых снов: зи-мо-вье?..

Ганс не мог ответить на эти вопросы. И в то же время был убежден, что все созвучия — закономерны, существуют сами по себе, а вовсе не придуманы им, не созданы в сонном воображении.

Вот и с иным... Всякий раз, когда с белых крон осыпалась серебряная пыльца, обжигавшая холодом и ознобом, в висках начинало звенеть, как на самой тонкой струне, непонятное слово: *иней.* Легкое, хрупкое. Колкое. Блестящие солнечные кристаллики на планшире борта после захлеста волн... В зимние ночи, бывает, охлажденная влага покрывает белым налетом палубу судна. Почему ж в белых снах никогда не приходит на ум привычное с детства слово *«der Reif»?* Или знакомое по марсельским скитаниям *«le givre»*? Откуда это иное — нежное, словно имя, точно распущенные волосы женщины: *иней?*

Порой у Ганса хватало юмора подтрунивать над собой. Нашел из-за чего волноваться... Ну приснилось — и бог с ним. И не такое может присниться. Вот закроет сейчас глаза, а женщина с переборки возьмет да и спустится вниз. Прижмется к нему щекою, упрячет его лицо в свои пушистые волосы, шепнет что-нибудь такое, что сердце защемит и расколется... В снах все возможно. За то, что в них происходит, людей не судят.

Шторм не стихал. Волны, должно быть, пробили брешь в ржавой стене кормовой водонепроницаемой переборки, ворвались в центральный отсек — вода клокотала внутри корабля теперь под самой каютой. Ганс подумал о том, что когда-нибудь волны дотянутся и сюда. «Виктория» рухнет набок, развалится на груды

железного лома. Со временем от пристанища, которое сейчас укрывает его от шторма, не останется даже воспоминания. Как и о нем самом. Угаснут белые сны с загадочными словами, сотрется след от киля «Виктории» на камнях — замкнется еще один скучный, извечный круг. И бухта вновь обретет унылую первозданность — ту первозданность, что то и дело рождает раздумья, но никогда не доводит их до логического конца.

Нет, лучше спать. Сны не требуют от человека цели, как жизнь. Не требуют и усилий, и дум о завтрашнем дне. А белые сны к тому же пробуждают надежду, что есть иная судьба, доступная каждому. Прочная, как земля, и радостная, как солнце. Летнее солнце, конечно. Теплое... Нужно уснуть. Чтобы не слышать нудного шторма, предсмертного грохота внутри корабля. И не думать черт знает о чем...

Поскуливал ветер. Вспыхивали загорные молнии. И по-старушечьи жалобно стонала «Виктория», вздрагивая от ударов крутых свирепых валов.

4

Две минувшие ночи утомили и измотали Ганса. Уснув наконец, он проспал затем чуть ли не до полудня... Когда проснулся, солнце высоко висело над бухтой. От накаленных борта и палубы снова тянуло зноем — в каюте было душно и горячо, словно в канатном ящике. Ганс торопливо открыл иллюминатор.

Шторм — должно быть, еще перед утром — утих. Лишь взбудораженное море все еще выплескивало на берег — бесстрастно и механически — мутные, зеленоватые от сорванных водорослей волны.

Впервые за многие месяцы Ганс почувствовал себя почти счастливым. Не хотелось думать о близком будущем, когда опять придется искать работу, не хотелось ни о чем вспоминать. Он ощущал себя частицей «Виктории», небо над бухтой, горы и солнце с предельной полнотой выражали в эти минуты его настоящую жизнь.

Он весело подмигнул женщине с переборки, и ему показалось, что сегодня ее улыбка еще приветливей и интимней. Провел по шершавой щеке ладонью: хорошо бы побриться... Повернул стекло иллюминатора, чтобы

хоть смутно угадывать в нем свое отражение. Горячей воды не было, и пришлось, то и дело морщась от боли, соскребать с подбородка щетину скользкою бритвой. Однако стойко вытерпел до конца. Довольный, несколько раз заговаривал с женщиной. Завтракать сел напротив нее: все-таки радостней вместе, глаза в глаза.

«Чем же теперь заняться? — раздумывал Ганс, прикончив банку с бобами.— Может быть, стиркой? Праздновать так уж праздновать».

Стаскивая рубашки, заранее предвкушал блаженство, когда наденет потом их чистыми, выстиранными. Не беда, что нет утюга: он знает секреты матросской стирки. Белье не следует выжимать, а вешать сразу сушиться, чтобы вода стекала с него. Тогда оно будет гладким, без единой морщинки. А стирка в холодной воде к тому же придаст рубашкам почти рекламную белизну. Как в лучших витринах Марселя!

Выходя из каюты, посочувствовал женщине: ей тоже хотелось, наверное, к солнцу, на палубу.

Изобилие солнца обрушилось на него. Всюду, куда ни глянь,— над горами, над бухтой, над побережьем,— плавилось небо; смотреть на него можно было, только прищурив глаза. А дальше за бухтой сверкало открытое море, но и над морем, у горизонта, висела знойная желтизна. Гансу почудилось в первый миг, будто он видит в той стороне песочного цвета отмели Африки.

Сбросив трап, который он с вечера поднял на палубу, Ганс, прижимая одною рукой белье, спустился на берег.

— Сам стирать будешь или подыщешь прачку?—раздался рядом насмешливый голос. В тени полубака — поэтому Ганс и не заметил ее — стояла женщина. Черноволосая и черноглазая, босоногая, в темной поношенной юбке и в светлой кофте, небрежно сколотой на груди, она улыбалась приветливо, даже как-то покровительственно, разглядывая в упор полуголого Ганса. Он смутился, и это придало еще больше веселости женщине.

— Как тебя зовут?— спросила она. И, услышав ответ, поинтересовалась:— Немец, что ли?

Он кивнул.

— А мое имя — Сильвана,— просто сказала женщина.— Я из деревни... Это тебя прогнал Джузеппе?

Он снова кивнул.

— И ты убил за это его собаку?

— Откуда я знал, что собака его? Они на меня напали.

— Да, собаки у нас как волки... А я вчера тебя увидела вон там,— указала Сильвана на мостик «Виктории».— Хорошо устроился здесь?

Ганс неопределенно пожал плечом. А женщина, вновь засмеявшись и подчеркнув тем самым, что понимает, какое у Ганса жилье, прислонилась спиною к ржавому борту судна. Она явно не собиралась уходить.

— Ты стирай,— смеялась Сильвана,—а я погляжу на тебя...

В другое время Ганс рассердился бы, может быть, даже ответил бы что-нибудь грубое. Но улыбка женщины, ее дружелюбие обезоруживали его. И потому он глуповато переминался с ноги на ногу, стараясь боком закрыть от Сильваны грязные рубашки. Не мог же начать он стирку на виду у нее!

А женщина, которая, видимо, давно уже никого не вгоняла в краску, теперь откровенно радовалась смущению Ганса. Быть может, это смущение напомнило ей о прежней девичьей силе, о власти над молодыми парнями — той силе, что как-то с годами забылась в заботах деревенской жизни.

— За что тебя высадили на берег? — продолжала смеяться Сильвана.

Злясь на собственную беспомощность, на растерянность перед молодой и красивой женщиной, Ганс внезапно выпалил:

— За убийство.

Сильвана поморщилась, с ноткой обиды, с едва уловимым упреком промолвила:

— Я серьезно, а ты...

— А если и я серьезно?— заупрямился Ганс. Ему хотелось хоть в чем-то — пусть даже в резкости —спрятать свою неловкость.

Улыбка на лице Сильваны медленно угасала. Женщина с нескрываемым сожалением взглянула на Ганса, устало и равнодушно ответила:

— За убийство живыми не высаживают на берег... Сдают полиции или топят в море.

Нет, она жалела совсем не его, а редкие и короткие минуты веселости, которые он так нежданно и прежде-

временно умертвил. «Что ж, иди и стирай свои грязные шмутки, если ты не способен понять в человеке радость»,— казалось, говорили ее глаза. И Гансу стало тоскливо при мысли, что Сильвана сейчас уйдет и он останется снова один на пустом корабле.

Стараясь скрасить недавнюю резкость и потому чувствуя еще большую неловкость, Ганс потупил глаза:

— В Марселе я как-то простыл... С тех пор лихорадит.

Видимо, Сильвана уловила в его голосе раскаяние, потому что, собравшись было уже уходить, помедлила. Кивнув на корпус «Виктории», она не то спросила, не то огорчилась вслух:

— И ты решил заранее подобрать себе склеп?..

В тот же миг, должно быть, она поняла, что сказала глупость, что Гансу попросту некуда деться. Не будь здесь «Виктории», он жил бы в камнях, под кустами, в звериных норах. К тому же старый корабль — вовсе не склеп и не такое уж плохое пристанище для бездомного человека. Бывает, ютятся целыми семьями в хибарах из мятых бидонов, консервных банок, в останках автобусов и вагонов. А пароход—это же роскошь, дворец!..

Теперь уже Сильвана поспешила загладить свою вину.

— Это я в шутку про склеп,— опять улыбнулась она.— А сюда пришла... за тобой.

Ганс удивленно поднял глаза, и женщина начала объяснять ему:

— Три года назад мой Делио уехал на заработки во Францию и погиб там на шахте во время взрыва. Остались мы с сыном...— Она на миг умолкла, точно перебирая в памяти печальные события своей жизни. Потом уже прямо взглянула на Ганса:— Лодка есть у меня, сети, да что я с ними одна сделаю! Работника взять не могу, сам понимаешь... Вот и подумала, когда тебя увидела... И ты будешь сыт, и я как-нибудь прокормлюсь. Зачем тебе маяться на старой посудине!— почти уговаривала Сильвана.— В доме найдутся для тебя и угол, и койка. Разве мужское дело белье самому стирать!

Ганс, не ожидавший такого предложения, растерянно молчал. Привыкший к одиночеству, он боялся чужого дома, чужой семьи. С другой стороны, сейчас ему особенно захотелось хоть некоторое время пожить в

тепле, под крышей, среди людей. Его тянуло к простой человеческой привязанности, которой он одновременно страшился, ибо еще никогда не знал. Словно разгадав сомнения Ганса, Сильвана полушутливо и в то же время таинственно-доверительно призналась:

— Ты не бойся, я хозяйка не злая...

Сильвана не зря была итальянкой. Ее голос, доверчивый, мягкий, чуточку вкрадчивый, окутал Ганса, и он как-то сразу утратил способность раздумывать и сомневаться. Теперь он пошел бы за женщиной только затем, чтобы опять услышать однажды и этот голос, и эти слова, за смыслом которых чудился Гансу влекущий неведомый мир.

Женским чутьем Сильвана угадывала его состояние. И потому тем же голосом, с тем же оттенком интимности добавила полушепотом:

— Иди собирайся. Я тебя здесь подожду.

Было жаль покидать каюту. Только вчера он ее прибрал, вымостил водорослями койку. А вот обжить не успел... Было жаль и женщину на картинке. Сколько теперь продлится новое ее одиночество? Год или десять? Наверное, так же вот одиноки жены египетских фараонов в непроницаемой тишине тысячелетних гробниц. Может быть, женщину взять с собой? А как на это посмотрит Сильвана?.. И Ганс, прощаясь с каютой, взглянул виновато на женщину, точно просил у нее прощения.

Сильвана ждала его там же, в тени полубака. Обрадовалась тому, что он собрался так скоро. Видимо, до последней минуты она не знала, насколько прочно согласие Ганса.

Они не спеша побрели по берегу к деревне. В узле за спиной у Ганса постукивали одна о другую банки консервов.

Вместе с утренней дымкой солнце вытеснило тени, и горы утратили загадочную гордую синеву. Они торчали сейчас, изнуренные зноем, такие же неприглядные и пустые, как груды камней вокруг. Зелень не украшала их, а лишь выпячивала проплешины голой рыжеватой земли. Глядя на горы, Ганс невольно подумал о том, что все на земле красиво лишь издали. В сумерках и туманах. В тенях. И только в общих чертах, без подробностей... Пожалуй, кроме человека, который красив

обычно именно рядом. Хотя и здесь подробности часто лишние, ибо они разрушают единство и цельность образа. Многих людей и любят, и уважают лишь потому, что не знают их тайн. Любящие не знают любимых, родные — своих детей. Каждый судит о человеке только по видимой части жизни. А она, эта видимая, подчас подобна той же дымке, что по утрам окружает горы, придавая им горделивость, величие и устремленность в заоблачные высоты.

Ганс покосился на Сильвану: каково-то будет ему у нее? Сейчас она ласкова и улыбчива... Ему было страшно испытывать и эту надежду. И потому он торопливо прогнал сомнения. Есть же, в конце концов, хорошие люди! Просто он, Ганс, не встречал их, не знает... Есть, должны быть сердца, которым совсем не нужны, как горам, дымка и тени, которые не боятся солнца в упор.

Поняв задумчивость Ганса по-своему, Сильвана прервала молчание:

— У тебя кто-нибудь остался в Германии?

Он отрицательно качнул головой, и женщина через несколько шагов снова спросила:

— А отец с матерью?

— Не знаю, — ответил Ганс.— Я не помню их.— Чтобы прогнать невеселые думы, которые все время подступали к нему, он пошутил: — Так что ты теперь для меня — за всех. Если не будешь обижать, конечно...

Сильвана не улыбнулась шутке, лишь пристально посмотрела на него. Потом, отвернувшись, раздумчиво произнесла:

— Зачем обижать... Мы ведь не радостью связаны, а бедой. Это в погоне за счастьем не думают о других.

Босая, она шла ближе к воде, где камни были помельче. Волны, растрепывая обрывки водорослей, выброшенных на берег ночью, то и дело омывали ноги Сильваны. Но женщина, казалось, не замечала их. Теперь и она молчала, о чем-то задумавшись.

Лет ей было, наверное, около тридцати, а может быть, меньше, но ее старили несколько крупных морщин, залегших у глаз. Руки тоже были не молодые: обветренные, смуглые от загара, они подчеркивали вялую, какую-то блеклую бесцветность кистей, должно быть, выбеленных частыми стирками или постоянной

работой в воде; кожу ладоней избороздили штрихи складок и едва заметных рубцов, матовые отметины многолетних, въевшихся в тело мозолей. И только нежная шея да розоватые мочки ушей будто не говорили, а скорее — кричали о том, что молодость женщины еще не прошла, что в Сильване до сих пор сохранились и юность, и застенчивая девичья привлекательность. Ее волосы, гладко зачесанные к затылку, где они были собраны в узел, отливали такой чернотой, что время от времени в них отражались веселые блики солнца. И это создавало впечатление подвижности женщины, даже стремительности, и еще больше укрепляло Ганса в догадке, что Сильвана моложе, нежели кажется.

Сильвана, чувствуя на себе его изучающий взгляд, изредка оборачивалась, вынуждая Ганса поспешно отводить глаза...

Они подошли к тому месту, откуда дорога к деревне карабкалась вгору. У шлюпок, вытащенных на берег, возились рыбаки. Заметив Сильвану и Ганса, они разогнули спины и с молчаливым любопытством глядели на необычную пару. И только Джузеппе сразу насупился, угрюмо поджидая, пока Ганс и Сильвана подойдут поближе. Выраженье его лица не обещало Гансу приветливого приема.

И действительно, едва они приблизились, как Джузеппе тотчас же напустился на женщину:

— Зачем ты его притащила сюда? А ты позабыл, о чем вчера я тебе сказал? — с угрозой обратился он к Гансу. — Убирайся подальше от деревни!

— Что ты разорался, как осел поутру! — не осталась в долгу Сильвана. — Я взяла его в помощники, и никому нет до этого дела!

— А ты хоть знаешь, кто он? — не унимался Джузеппе. — Может быть, скрывается от полиции? Может, убийца?

— Где же мне отыскать безгрешного! — съязвила женщина. — В монастыре? Так толку в работе от монахов — сам знаешь! Ты же, Джузеппе, ко мне не пойдешь в работники? Вот я и выбрала Ганса!

— Ганса? Нам еще немцев здесь не хватало!..

— С каких это пор ты не любишь немцев? За что же тебя тогда во время войны партизаны хотели повесить?

Это уже было слишком. Джузеппе побагровел, в ярости сжал кулаки. Будь перед ним не женщина, он наверняка пустил бы их в ход. Едва сдерживая себя от гнева, закричал еще громче:

— Пусть убирается к дьяволу! Это, наверное, он мою собаку убил?

— Она сама со скалы бросилась, когда узнала тебя поближе,— тут же нашлась Сильвана.— А Ганс пойдет в деревню, ко мне, даже если ты, Джузеппе, лопнешь от злости!

Рыбаки, не вмешиваясь в словесную перепалку, посмеивались, довольные неожиданным развлечением. И это, видимо, тоже злило Джузеппе, потому что внезапно он обратился уже не к Сильване, а сразу ко всем:

— Джузеппе ей стал не хорош! А деньги, которые ей одолжил Джузеппе, третий год не может вернуть! Другой на моем месте давно бы забрал за долги и лодку, и сети. И я это сделаю, клянусь святым Себастьяном!

Упоминание о деньгах сразу же охладило воинственный пыл Сильваны. Она как-то вдруг умолкла и съежилась, глядела на рыбаков беспомощно и беззащитно, точно ей нанесли удар оттуда, откуда она не ждала. Рыбаки неловко отводили глаза, и Ганс подумал о том, что в должниках у Джузеппе, наверное, не одна Сильвана. Молчавший все время, пока велась перебранка, он спросил у женщины:

— Сколько ты должна ему?

— Сорок тысяч лир,— потерянно вымолвила Сильвана.

Ганс неторопливо снял с плеча узел, нащупал пакет с деньгами, который на судне вручил ему капитан. В последние месяцы он редко сходил на берег, и у него, по его расчетам, должно было быть тысяч около шестидесяти.

Ганс и сам едва ли бы смог объяснить свой поступок. В конце концов, кто знает, сколько он продержится у Сильваны, и было, наверное, глупо тратить так неразумно деньги. Кто эта женщина для него? И чем он обязан ей?.. Но Сильвана смело заступилась за него, и теперь он должен был отплатить ей тем же. К тому же хотелось поубавить спеси у Джузеппе, дать понять

ему: уж коли он, Ганс, решил быть помощником женщине, значит, он и Сильвана отныне — единое целое.

Он отсчитал сорок тысяч и протянул Сильване:

— Отдай ему.

Женщина нерешительно смотрела на деньги, и Ганс уже строго добавил:

— Возьми.

И тогда Сильвана улыбнулась. То ли тому, что с этими деньгами она теряла зависимость от Джузеппе, то ли тому, что Ганс не стал ее уговаривать, а попросту приказал — по-мужски, по-хозяйски.

Пересчитывая купюры, Джузеппе спросил с издевкой:

— Они не ворованные?

— А тебе что, впервые?— ухмыльнулся Ганс и, снова закинув узел на плечо, кивнул Сильване: — Пойдем.

Джузеппе не вытерпел, с ехидцей бросил вдогонку:

— Так ты его и за мужа берешь?

Повеселевшая женщина оглянулась, громко, нараспев посоветовала:

— Ты лучше за своей Джузеппиной следи: как бы твой внук не родился в солдатских бутсах!

Он еще что-то крикнул вслед, но что, они уже не расслышали... Перед самой деревней Сильвана, дотронувшись до локтя спутника, как бы вскользь заметила:

— Значит, теперь эти деньги я должна тебе...

— Там посмотрим...— неопределенно ответил Ганс.

Деревня встретила их без враждебности, которая отличала Джузеппе. Женщины не скрывали своего интереса к пришельцу, выглядывали из окон, из проемов дверей, через низкие каменные ограды маленьких двориков. Вслед за женщинами выглядывали и дети — нестриженные, замурзанные; но матери, поглощенные пристальным вниманием к бредущей по улочке паре, не замечали детишек, не прогоняли. И те глазели так же, как взрослые, только бездумно и потому более сосредоточенно.

Сильвана, видимо, знала: Ганс и она станут в деревне на несколько дней предметом всех пересудов — и сочувственных, и грязноватых, и даже завистливых. Смущаясь от взоров соседок, которые словно ощупывали Ганса со всех сторон, она подчеркнуто независимо,

но в то же время слишком поспешно объясняла соседкам:

— Вот, помощника привела... Теперь будем вместе со всеми рыбу ловить.

На лицах женщин не появлялось ни одобренья, ни осужденья ее признанию. Они пропускали, казалось, мимо ушей слова Сильваны и только изредка ухмылялись: дескать, ладно, болтай, мы-то все понимаем... И еще внимательнее присматривались к Гансу, точно оценивая его и сравнивая с другими мужчинами.

Недвузначность ухмылок, должно быть, передавалась Сильване: она все время шла, слегка отвернувшись от Ганса, боясь ненароком встретить взгляд его глаз.

Ганс же не обращал внимания ни на кого. Поскитавшись по свету, он приучился не придавать значения не только недобрым взглядам или молве, но даже неприязни, презрению и угрозам, если дело касалось приюта или куска хлеба. То все—для излишне чувствительных. Тот, кому суждено бродяжить, с благородством и сантиментами не продержался б и месяца. А он не гордый: было бы хорошо у Сильваны — на остальное наплевать. На деревню, на женщин, на все условности: случалось в жизни и не такое!.. Поэтому он твердо решил, если понадобится, защитит и себя, и Сильвану.

Любопытство женщин забавляло Ганса. Он уже не боялся деревни, что бы ни произошло с ним теперь. И только временами, когда замечал во дворах свернувшихся, ко всему равнодушных псов, ему становилось не по себе: в такие минуты Ганс невольно вспоминал покинутую каюту на старой, разбитой штормами «Виктории».

Дворик Сильваны ничем не отличался от тех, которые видел он по пути. Десяток шагов и в ту, и в другую стороны, низкий забор из камней, скрепленных между собою глиной, в углу куча хвороста, занявшая чуть ли не четверть двора... Сложенный так же, как и забор, дом — с небольшим оконцем под самою крышей — упирался спиною в соседский: задняя стена для обоих домов была общей. Между оконцем и дверью, завешанной ситцевым пологом, росло единственное во дворе тутовое дерево. Оно бросало жидковатую тень на плоскую крышу, на которой сушились початки кукурузы, пестрело несколько тыкв.

Внутри дом представлял собою одну полутемную комнату. Здесь тоже все свидетельствовало о бедности. Видавшая виды кухонная утварь у закопченного очага, грубо отесанный стол и такие же стулья, почерневшая от времени железная кровать, должно быть, доставшаяся Сильване или ее погибшему мужу в наследство. Над кроватью, покрытой сшитым из разного цвета кусков одеялом, поблескивали круглые палубные часы. Ганс почему-то подумал, что эти часы — с «Виктории».

В другом конце комнаты, разделяя ее на две неравные части, висели, как занавес, рыбацкие сети.

— Ну вот мы и дома,— смущенно улыбнулась Сильвана.— Здесь будем я и Пьетро,— кивнула она на кровать,— а ты — там...

Ганс заглянул за сети и обнаружил еще одну койку с плоским, слежавшимся матрасом.

— У тебя есть огород? Или хоть несколько деревьев?

Женщина отрицательно качнула головой:

— Земля вокруг деревни — чужая. Один Джузеппе арендует участок. Но весною и осенью мы работаем на виноградниках, если хозяева не привозят батраков из Катании.

В дверях появился и замер мальчонка, такой же черноволосый и черномазый, как и хозяйка дома. Он неподвижно уставился на незнакомца, глядя из-под бровей, насупленных не столько сурово, сколько обиженно, настороженно и отчужденно.

— Ты почему не здороваешься, Пьетро?— обратилась к нему Сильвана.— Это Ганс, он будет нам помогать...

Ее слова никак не подействовали на мальчика. Постояв еще несколько мгновений, тот исчез так же бесшумно, как появился. Словно стараясь загладить невежливость сына, женщина торопливо сказала:

— Сейчас приготовлю завтрак. А после займусь твоей стиркой.

Ганс развязал узел, выложил на стол консервы. Затем отсчитал немного денег.

— Купи вина. И что-нибудь сладкое Пьетро.

Она взглянула на него благодарно и тут же отвела глаза. А Ганс достал сигареты и вышел во двор.

Царила плотная, словно придавленная зноем к земле, тишина. Отсюда, со двора Сильваны, деревня

виделась слепыми безоконными стенами да плоскими крышами ниже по склону. Видимо, каждый строил свой дом с расчетом, чтобы его бытие было скрыто от взоров соседей. Ганс невольно улыбнулся: какие могут быть секреты в деревне, где обитает не больше сотни семей! Где на всех, наверное, — единственная лавчонка, два или три колодца да перекресток, откуда уходят извечные две тропы: к морю да к горной дороге, что вьется меж скал и кустарников к ближайшему городку... Но так уж устроены люди: хоть ситцевым пологом, а отделят свою берлогу от остальных.

Плоские крыши, казалось, не выдержат тяжести солнца. Горбились и вгибались каменные изгороди, повторяя неровности склона. И трудно было поверить, что за этим нагромождением камней, совсем близко, раскинулось море: оттуда не долетало ни плеска волны, ни глотка прохлады.

Жаркий день расслаблял, нагонял сонливость... Ганс видел, как Сильвана вышла из дому, как возвратилась затем минут через двадцать с плетеной бутылью в руках. Однако сам он не торопился войти вслед за женщиной, хотя внутри дома было гораздо прохладнее, нежели здесь. Ганс лениво раздумывал обо всем, что произошло с ним за двое минувших суток; о том неожиданном повороте судьбы, с которым он очутился в нищем, запущенном доме вдовы-рыбачки. Надолго ли?.. Бродяга, он привык заботиться лишь о себе. Теперь же, хочешь не хочешь, он должен будет думать и о Сильване, и об ее малолетнем Пьетро. Хватит ли сил у него и умения? Ведь он никогда до этого не был не только главою семьи, отцом или старшим братом, но даже сыном. Он одинок: от рожденья — до этой минуты. Одиночество стало его оболочкой, привычкой, натурой. И поэтому Ганс не знал, сумеет ли вжиться в маленькое чужое братство.

Сильвана наконец позвала к столу. Он долго мыл руки. Когда уселся, женщина пододвинула к нему тарелку с ломтями горячей вареной рыбы и стакан.

— А себе? — удивленно нахмурился Ганс.

И Сильвана, радуясь его внимательности, поспешно вскочила, достала второй стакан.

В дверях появился Пьетро, неуверенно замер, точно не решался войти в комнату.

— Ты почему опаздываешь? — заметила женщина.— Живо к столу.

Мальчонка двигался как-то боком, все время искоса и враждебно поглядывая на Ганса. Свой стул он демонстративно отодвинул поближе к матери. Сильвана уловила тягостное настроение сына. Стараясь за строгостью спрятать смущение и тревогу, спросила:

— Ты нездоров?

Пьетро молчал, тяжело посапывая. Потом, как-то вдруг, стрельнув ненавидящими глазами в Ганса, промолвил:

— Они говорят, что теперь он будет мой папа...

Повисла испуганная тишина. Лицо Сильваны залила краска, она потупилась, не в силах встретиться взглядом ни с Гансом, ни с Пьетро. Видимо, в ней вспыхнули одновременно и обида на сына, и злость к тем, кто мог мальчишке сказать такое. Но слова Пьетро прозвучали столь неожиданно, столь внезапно, что женщина не успела опомниться, совладать с собою, ответить. Теперь же, когда молчание затянулось, ответить стало еще труднее.

И тогда женщине на помощь пришел Ганс. Ровно, спокойно, словно ничего не произошло, он сказал, обращаясь к мальчику:

— Я знал твоего отца, мы вместе на шахте работали. Он просил, чтобы я помог тебе и твоей маме. Я обещал ему. Мужчина ведь должен слово держать, правда?

Это была ложь, но ложь оправданная. Пьетро взглянул на него с подозрением, но в то же время с надеждой. И Ганс, угадав эту крохотную надежду, продолжал:

— Я, правда, никогда не рыбачил. «Не беда,— сказал твой отец,— Пьетро поможет. Мы с ним, бывало, ходили в море вдвоем...»

Женщина наконец решилась поднять голову. Она обняла сына, ласково привлекла к себе:

— Не слушай, мой мальчик, о чем они там болтают... Ганс будет нам помогать. А потом подрастешь ты и станешь моим помощником.

Боясь долгих пауз, Ганс начал рассказывать о плаваньях и скитаниях. О том, как в Марселе к ним на судно сбежала с корабля, пришедшего из Африки, маленькая обезьяна. Моряки называли ее Тити, но это

имя, очевидно, не нравилось обезьянке, потому что она со всеми дралась.

Пьетро слушал внимательно, время от времени оборачиваясь к матери, словно немо спрашивал у нее: правда ли все это? И Сильвана, радуясь тому, что за столом наступил относительный мир, кивком подтверждала: правда.

После обеда Ганс, видя, что Пьетро стал мягче и доброжелательней, предложил ему вместе почистить двор.

— А уж завтра займемся сетями и лодкой...

— Да вы переждите зной,—рассмеялась Сильвана.— В деревне в это время никто не работает.

Действительно, в этот час все живое в деревне — как и на всем побережье, наверное,— пряталось от палящего солнца. С улиц и из дворов исчезали люди. Куры, отыскав где-нибудь нещедрую тень, зарывались в песок или пыль. Понуро стояли ослы, отгоняя хвостами мух. Казалось, что даже деревья, дома и камни замирали и погружались в спячку в ожидании той поры, когда подует с моря легкий веселый ветер, а на округу лягут вечерние тени гор.

Ленивая истома окутывала и Ганса. Он не стал возражать хозяйке. Пережидать так пережидать... Закурив, наслаждаясь — впервые в жизни — домашним покоем, о котором так много мечталось в прошлом, шутливо сказал Сильване:

— Ты только меня не жалей: еще, чего доброго, разленюсь.

5

В первый раз они вышли в море через неделю. Два дня пришлось повозиться с лодкой: она рассохлась, текла. Хорошо, что Ганс, поплавав матросом, знал в этом деле толк. По всем корабельным правилам очистил обшивку от старой засохшей краски, проконопатил щели и пазы, прошпаклевал. Лодку он выкрасил наново в яркий зеленый цвет.

За те дни, что работал на берегу, Ганс познакомился со всеми мужчинами деревни. Тут же, рядом, они сушили и чинили сети, приводили в порядок нехитрую оснастку рыбацких шлюпок. В редкие минуты

передышки подходили к лодке Сильваны, оценивающе следили за тем, как Ганс орудует мушкелем и стамеской. Когда же и он распрямлял уставшую спину, делились водою и сигаретами, расспрашивали Ганса о тех местах, в которых ему довелось поскитаться.

Ловя себя на мысли о том, что разговорчив только с Сильваной, он скупо рассказывал о Германии, о Марселе и Генуе. Но и его немногословия хватало рыбакам для того, чтобы печально качать головами да время от времени замечать:

— Видать, живется сладко нашему брату—на небе...

— Почему? На дне морском тоже.

И лишь Джузеппе по-прежнему сторонился Ганса, издали наблюдая за ним угрюмо и недвусмысленно. Как-то перед полуднем около Ганса вдруг появилась девушка — стройная, с комками набухших грудей под ситцевым платьем. Она мазнула пальцем по свежей краске борта, спросила со смехом:

— Ты что же, у Сильваны и вечерами батрачишь?

Но тотчас же девушку оборвал сердитый окрик Джузеппе:

— Эй, Джузеппина, опять вертишь юбкой? Марш отсюда!

Она насупилась, тряхнула независимо головой, распушив волосы, и медленно побрела от берега. Потом рыбаки смеялись:

— Джузеппе для дочери ждет жениха позавиднее. Дождется, что девка помается да и выйдет замуж где-нибудь под кустом.

В полдень мужчины бросали работу и отправлялись в деревню: завтракать, в домашних заботах пережидать солнцепек. Отправлялся с ними и Ганс. Хозяйка встречала его у порога. Она старательно сливала затем холодную воду из кувшина на руки, плечи и шею взмокревшего Ганса.

Когда лодка была наконец готова, Ганс и Пьетро торжественно прошлись на ней вдоль берега бухты. Сильвана стояла тут же, на берегу, среди рыбаков, смотрела на маленькое суденышко, скользившее по воде, празднично-возбужденно, словно с этой лодкой в жизни ее возвращалось что-то давнишнее, забытое, утраченное со смертью мужа.

Несколько сложней обстояло дело с сетями. Ганс никогда до этого не рыбачил, и сети, по сути, чинила женщина, а он лишь подвязывал к ним поплавки и грузила.

Сети решили высыпать в море на ночь. После полудня с сетями и веслами на плечах все трое — Пьетро, Сильвана и Ганс — прошествовали деревенскими улочками к берегу. Из-за оград с любопытством высовывали головы соседки, провожали их взглядами, желали удачи. Сильвана благодарила скупо, с достоинством, горделиво.

Когда столкнули лодку и она закачалась на легкой, сонливой волне, Сильвана кивнула на далекий пологий обрубок берега, которым справа кончался залив:

— Пойдем туда, к мысу... Делио всегда ставил сети там.

Гансу было все равно. Он сел на весла, хозяйка — к рулю, а Пьетро забрался на груду сетей и с восторгом глядел на море, на горы, на блеклую от летнего зноя кайму горизонта.

Море играло бликами. Сверкало, переливалось, подмигивало; и чудилось, что и оно, как Сильвана, радуется этому дню, которого женщина заждалась. Сейчас, сжимая румпель, она едва приметно шевелила губами, точно повторяла молитвы или заклинания: дай бог, чтобы ночью не сорвался внезапный шторм; чтобы косяки рыбы бродили поближе к мысу; чтобы улов был богатый и щедрый... И Ганс, наблюдавший за нею, подумал о том, что теперь, когда приобщились они к рыбацкому труду, появится много новых тревог: о погоде, о ценах на рыбу, о резвых стадах дельфинов, разрывающих сети...

Сети высыпали в миле от мыса, на месте, которое подсказала память Сильваны. Сам Ганс не мог ничего посоветовать, так как не знал ни здешних глубин, ни течений, ни рыбьих повадок. Ну да ладно, утро покажет, насколько хозяйка права... Он закрепил на концах якоря-грузы, поставил приметную вешку, чтоб ненароком не залетела в сети чужая шлюпка; да и для себя не мешало точней обозначить место, чтоб завтра, в утренних сумерках, легче было б его отыскать.

С этой же целью Ганс прикинул — пусть хоть на глаз — направленья и расстоянья до мыса, до крошеч-

ных отсюда, издали, крыш деревни, до ржавых останков «Виктории», пламеневших на берегу в лучах предзакатного солнца.

— Ну, пошли домой,— сказал он, докурив сигарету.— Пьетро, смени на руле маму.

Мальчик, зардевшись от удовольствия, тут же пересел на корму, потеснив мать, вцепился обеими руками в румпель. А Ганс взялся опять за весла, однако греб теперь медленно, не напрягаясь: спешить было некуда, а бухта к вечеру становилась уютней, прохладнее, живописней. Море наполнилось синевой, словно она всплывала из глубин предвестником близкой ночи. Воздух над побережьем казался прозрачным, легким — склоны гор в нем просматривались до самых высоких гребней. На виноградники пали вечерние тени, над ними, наверное, плыли, не угасая, звуки из самого дальнего далека. Чудилось, все вокруг полно усталости и покоя и ждет лишь первой робкой звезды в тускнеющем небе, чтобы сомкнуть ресницы и забыться во сне.

Солнце скрылось за край горы, и тотчас же бухта погрузилась в ранние сумерки. Лишь у горизонта море еще дотлевало в последних дневных лучах, да кое-где на вершинах цеплялся за камни последним усилием нежный багрянистый свет. Наконец и вершины погасли. Горы начали расплываться, сгустились, придвинувшись к бухте вплотную. Их темной громадой над деревней повисла ночь. Ее покой был таким глубоким, таким всеобъемлющим, что и после того, как лодка уткнулась в берег, Сильвана несколько долгих минут сидела неподвижно.

Ночью Гансу плохо спалось. Невольно думалось о сетях, оставленных в море, о том, каков будет завтра улов и сумеет ли он прокормить себя, Сильвану и Пьетро.

Комната без сетей казалась большой и просторной. Ничто не отгораживало теперь Ганса от женщины, и он угадывал в темноте ее плечи, рассыпанные по подушке волосы. Он слышал ее дыхание, и в нем рождалось новое чувство, неведомое до сих пор. Это было ощущение своего старшинства, желание покровительства и в то же время ответной заботливости. Как знать, быть может, со временем Сильвана и Пьетро станут родными ему и

близкими. Что ж, он заждался простой человеческой дружбы и теплоты...

Уснул он только под утро. Но вскоре его разбудила Сильвана. Сквозь оконце несмело просачивалась рассветная голубизна.

Решили не тревожить сладко спавшего Пьетро. В море вышли вдвоем.

От мыса потягивало ветром, и Ганс пожалел, что у них нет паруса. Небольшие встречные волны били в скулу лодки, окатывая время от времени его и Сильвану брызгами. Женщина ежилась, куталась в старую кофту, беспомощно улыбалась. Глядя на нее, Ганс почему-то вспомнил ночи в Марселе: Сильвана, зябнувшая от брызг, напомнила ему его самого в ту холодную зиму. Он не сдержался и улыбнулся тоже.

— Почему ты смеешься?— насторожилась она.

— Я не смеюсь... Сколько лет ты прожила с Делио?

— Осенью было б четырнадцать,— с грустью ответила женщина.— А замуж я вышла семнадцати...

— Совсем девчонкой, — удивился Ганс. Однако Сильвана неожиданно рассердилась, вспылила:

— Почему девчонкой! Вон Джузеппине тоже семнадцать, а она все время на берегу вертится возле тебя! Кабы не отец, уже повисла б на шее...

— Моя шея не для нее,— усмехнулся он, а женщина, досадуя на себя за внезапную вспышку, отвела глаза: еще, чего доброго, подумает Ганс, что она, Сильвана, злится на него из-за этой худой голенастой девчонки.

Какое-то время оба молчали. Чтобы хоть чем-то заполнить неловкую паузу, Ганс приналег на весла. Но едва увеличился ход лодки, как брызги сильнее стали окатывать женщину, сидевшую на корме. И он опять сбавил темп, гребя не корпусом, а только руками.

Уловив эту заботу, а может быть, для того, чтобы хоть как-то сгладить свою недавнюю резкость, Сильвана негромко спросила:

— А у тебя была когда-нибудь... Ну, жена, что ли... или подруга?

— Один раз. В Марселе.

— Красивая?

— Не знаю. Она была голодная. А я не имел ночлега.

— А, из этих...— разочарованно догадалась женщина.

Ганс промолчал. В конце концов, та, из Марселя, была такой же обездоленной, как и он, как и сама рыбачка, лишь не имела своих ни сетей, ни лодки. Однако он не сомневался, что хозяйка этого не поймет. И не ошибся. Когда через несколько минут он в шутку признался в том, что ему по ночам часто снились женщины, похожие на нее, Сильвану, она тут же съязвила:

— Такие ж податливые, как та, из Марселя?

И Ганс, озлившись, почти грубо отрезал:

— Не знаю: я всегда просыпался раньше времени.

Он снова навалился на весла, не думая больше о брызгах, взлетавших из-под скулы. А Сильвана молча переложила руль, направив лодку к знакомой вешке, которая раскачивалась на волнах уже совсем близко.

Сети решили только перебрать и оставить в море еще на сутки. Поменялись местами: теперь Сильвана села на весла и стала медленно подгребать вдоль неровной линии поплавков; Ганс, послабив канат, идущий от якоря, с трудом подымал на поверхность участки тяжелой, набухшей сети. Убедившись, что сеть пуста, отпускал ее, и она плавно погружалась опять в глубину. Так, метр за метром, и продвигались они с Сильваной от одного концевого якоря к другому.

Работали молча, лишь изредка перебрасываясь словами. Сеть, которую обтягивали ко дну грузила, выходила туго, пружинисто, словно нехотя. На оголенных руках Ганса вздувались мышцы, сквозь кожу проступали, как струны, твердые сухожилия. Ладони побелели от холодной воды, на них отпечатывались узоры каната и капроновых нитей ячеек. К этим узорам, едва отпускал он сеть, тотчас же приливала кровь.

Занятый своим делом, Ганс не глядел на Сильвану. И только когда увидел, что из глубины вместе с сетью поднимается светлое тело рыбы, вскрикнул и на миг обернулся к женщине. По его возбужденному возгласу, по торжествующим глазам она поняла. И улыбнулась в ответ так же радостно, разделяя его восторг: бросила весла, метнулась к корме, поближе к выбираемой сети. Лодка качнулась, Сильвана едва не свалилась, поспешно схватилась за плечо Ганса. Но тот даже не заметил этого, выпутывая из сети упругую рыбу, бьющуюся в руках. Наконец Ганс победно и в то же время нарочито небрежно швырнул ее на дно лодки, и рыба, ударив

хвостом раз-другой, замерла, растопырив сизые жесткие плавники. Ее темноватая спинка хранила еще не успевшую высохнуть синеву моря.

Только после этого он поднял глаза на женщину, и Сильвана, точно разбуженная этим взглядом, сняла руку с его плеча и возвратилась к веслам. Но хорошее настроение уже не покидало их: рыба теперь попадалась все чаще. Когда достигли они конечного якоря, в лодке билось около сотни серебристых головастых рыб.

Не зная, хороший ли это улов, Ганс, указав ни них, коротко спросил:

— Ну как?

Сильвана довольно и ободряюще кивнула в ответ, а сказала совсем другое:

— Ты отдохни, а я погребу немного...

Вернулись к вешке, он снова закрепил втугую якорный канат. Затем натянул куртку и закурил.

Женщина гребла неторопливо. Волны догоняли лодку, приподымали корму, точно подталкивали к еще далекому берегу. Они шуршали под днищем, и, может быть откликаясь им, время от времени какая-нибудь из рыб топорщила жабры и в отчаянье била хвостом.

День обещал быть таким же знойным, как и вчерашний. Море еще хранило утреннюю прохладу и свежесть, но на склонах и на вершинах гор уже исчезали тени, и побережье — с деревней, с утесами и виноградниками — опять погружалось в сухую бесцветную духоту, в которой и камни, и зелень, и выжженные солнцем травы казались однообразно унылыми, серыми, как вытертое сукно шинели. Зной обесцвечивал все вокруг, даже море, из которого вытравливал синеву,— и потому единственным броским пятном во всей панораме бухты были ржавеющие останки «Виктории».

Людям, живущим на этом заброшенном клочке побережья, нужны были или очень большая вера, или очень большая привязанность — к дому ли, к детям, к женщине,— чтобы хоть капельку быть счастливыми. Ибо сама бухта не обещала человеку ничего. Здесь жили, наверное, так же, как сто лет назад, с той лишь разницей, что море выбрасывало тогда на берег не пароходы типа «Виктории», а останки разбитых парусников. Это была одна из редких примет того, что где-то меняются времена; здесь же, в деревне, не изменялось ничто, разве что

цены на рыбу. Тот же зной, те же камни и неустанные заботы о хлебе. Люди рождались и умирали или пропадали без вести, гибли в море и на далеких войнах. А солнце по-прежнему иссушало землю, в зимние месяцы гудели влажные ветры, и гул прибоя сливался и с первым криком младенцев, и с горькими причитаниями погребальных процессий.

Вот Сильвана — что обещает ей будущее? Зачем она родилась? Только затем, чтобы протащить на себе все возможные тяготы жизни, бедности, одиночества и в конце успокоиться на деревенском кладбище?..

Да и сам он, Ганс: чем судьба его лучше судьбы Сильваны! Что ему до того, что в двадцатый век есть нейлон и перлон, что люди в считанные часы перебираются с континента на континент в сверхзвуковых самолетах! Его мечта, его радость такая же, как у первобытного человека: крыша над головой да полный желудок. И если он сам отличается чем-нибудь от Сильваны, то только тем, что имеет возможность выбрать бродяжьи дороги, которые не доступны женщине.

Ганс поднялся, бросил:

— Хватит, давай весла.

Она покорно подчинилась ему. Хотя волна была небольшая, Сильвану слегка укачало. Лицо ее побледнело, под глазами проступили синеватые тени, как от бессонницы. Заметив их, Ганс не на шутку встревожился:

— Тебя знобит?

Сильвана отрицательно покачала головой, но он все же снял с себя куртку и укрыл ноги женщины.

Взялся за весла — и лодка сразу пошла быстрее. Он все время с тревогой наблюдал за Сильваной, и она — быть может, чтоб успокоить его — стала собирать со дна лодки рыбу в корзину.

Рыбу отнесли Джузеппе. Ганс поинтересовался: почему именно ему?

Сильвана как-то вяло ответила:

— Кто его знает... Так уж заведено, что в город рыбу отвозит он.

Джузеппе сердито ворчал и поругивался. Дескать, в море сегодня никто, кроме них, не ходил, в город он собирается поэтому только завтра, и если рыба подпортится и за нее дадут лишь полцены, пусть они, Сильвана и Ганс, ни в чем не винят его, Джузеппе.

Ганс все время молчал. Не обмолвился ни словом даже тогда, когда помогал Джузеппе спустить корзину с уловом в погреб.

Дома он устало вытянулся на койке. Болели натруженно руки и плечи, от долгой работы ныла спина. Клонило в сон. Однако стоило прикрыть глаза, как перед ним тотчас же возникали слепящие блики моря.

Сильвана накормила проголодавшегося сына, и тот, не успев дожевать, умчался на улицу. А женщина, которой все еще нездоровилось после качки, присела, положила руки на стол — и замерла.

— Устал? — посочувствовала она, заметив, что Ганс борется с дремотой. Он не ответил. Лишь спустя некоторое время задумчиво, глядя в потолок, произнес:

— Если хорошо заработаем, в конце недели съездим в город. Вместе с Пьетро, втроем.

— Уже заскучал? — с укором спросила Сильвана.

— Да нет... Должны же у людей случаться хоть изредка праздники! Город у вас хороший?

— Маленький. И веселый. А в других я не бывала.

Ганс обернулся к ней, слегка отодвинулся, освобождая край койки:

— Сядь вот здесь...

Сильвана послушно подошла, присела. И он, торопясь высказать то, что его растревожило, промолвил все так же задумчиво:

— Я никогда не имел ни родных, ни братьев... Всегда один. И вот оказался в семье. В вашей. И мне вдруг очень захотелось... как бы это тебе сказать... Ну, заботиться, что ли, о вас... Это, наверное, у человека в крови, как у птиц по весне...

Она молчала, по-прежнему глядя куда-то в сторону, и Ганс уже тише добавил:

— Ты и Пьетро — подарок для меня, понимаешь? Нежданный. А надолго ли?

— Тебя никто отсюда не гонит, — ответила женщина настороженно, видимо еще не уловив до конца, о чем он хочет поведать ей.

— И раньше случались места, откуда меня не гнали, — поморщился Ганс. — Из кубриков, из ночлежек... Речь не об этом. Я попал в чужое гнездо, потому что своего не имею. И почувствовал, что могу... может

быть, даже должен... да просто хочу принести хоть каплю радости. Тебе, Пьетро. А возле вашей радости и самому отогреться немного.

Сильвана наконец повернулась к нему, и ее лицо, с которого сошло выражение напряженной выжидательности, стало мягким, устало приветливым.

— Ты не сердись, если я бываю груба,— попросила она виновато.— Вот и сегодня в море наболтала глупостей о Джузеппине...

— Почему глупостей! Я заждался привязанности и побегу за первым, кто меня позовет.— Ганс внезапно усмехнулся:— Я ведь и за тобою пошел с первого слова.

— У тебя не было выбора,— рассмеялась и она.

— У меня его нет и теперь.

— А Джузеппина? Ты нравишься девчонке...

— Да? Ну что ж, тогда я подумаю... Но все зависит лишь от тебя.

— Почему от меня? Что я могу здесь поделать?

— Очевидно, не давать мне времени для раздумий.

Он, Ганс-молчун, сам удивлялся тому, что разговорился, впервые не страшась слов, не боясь, что они подведут, окажут плохую услугу. Ему нравилась эта игра, в которой в жестах, в оттенках голоса женщины проскальзывало гораздо больше и смысла, и откровенности, нежели в однозначном, прямом содержании слов.

И все же, увлеченный словесной игрой, он заметил, как на какой-то миг потускнело лицо Сильваны при упоминании о Джузеппине. Тогда Ганс осторожно коснулся бедра женщины, сказал уже без шутливости, пугаясь собственной смелости:

— Я шутил... Мне нравится твой дом. И ты. Мы могли бы любить друг друга.

Теперь и Сильвана отвечала раздумчиво, медленно, как будто пробовала на ощупь каждое слово, прежде чем вымолвить:

— Наверное, нам этого не избежать...

— Ты боишься этого?— взглянул он ревниво.

— Нет, не боюсь... Ты лучше и добрее многих других в деревне.

Она сказала это неторопливо, однако твердо, без паузы после его вопроса, словно ответ был решен и обдуман заранее. И тогда Ганс обнял Сильвану, привлек

к себе. Женщина не сердилась и не противилась. Лишь когда его ласки стали излишне настойчивы, достигли рискованной грани, она отстранилась, отрицательно мотнув головой.

Ганс растерялся, обиделся, насупился, как ребенок. Глядя на него, Сильвана рассмеялась, ласково объяснила:

— Неужели ты не понимаешь? Ведь каждую минуту может вернуться Пьетро...

— Когда же?

Женщина весело пожала плечом:

— Наверное, скоро... Я ведь не могу оставлять тебе время на раздумья.— И так как Ганс по-прежнему хмурился, внезапно склонилась к нему, прижалась щекою и, все еще смеясь, прошептала в самое ухо:— Ну, до ночи ты не сбежишь к Джузеппине?

День тянулся, словно в тумане. Он двоился, и Гансу казалось, что существует, по сути, два параллельных дня: один реальный — со зноем, будничными заботами, усталостью, и рядом другой, полупризрачный,— с бесконечными думами о Сильване, с лицом ее, смехом и шепотом, которые даже не воскресали в памяти, а попросту наполняли Ганса, все его существо. Единственным общим для этих обоих дней было, пожалуй, время: и в жизни реальной, и в ожидании оно тянулось медлительно и тоскливо.

Сумерки встретил он, словно праздник. И всю ночь затем, когда Сильвана пришла наконец к нему и, озираясь пугливо на спящего Пьетро, позволила расстегнуть на себе остатки одежды, Ганс ощущал в себе этот праздник — праздник, который шаг за шагом смягчал в его сердце заскорузлый и затвердевший панцирь одиночества. Ему казалось, что, сблизившись с женщиной, он в то же время сближался и с бухтой, с деревней, со всем окружающим миром. И радовался тому, что нежданно обрел в этом доме земной, отзывчиво-щедрый приют, исцеляющий душу от въедливой бродяжьей коросты,— приют, о котором в последнее время боялся даже мечтать.

Рассвет они встретили, досказывая полусонным шепотом то, что не успели поведать один другому за летнюю короткую ночь.

— Даже не знаешь, откуда родом?— с сочувствием

спросила Сильвана, и Ганс, глядя задумчиво в потолок, словно перебирал в памяти прошлое, ответил:

— Отец у меня был инвалид, ногу в России оставил. А когда умер от ран, выяснилось, что не отец он мне, а просто добрый человек, приютил... С тех пор я искал родных. Долго искал, всю жизнь. А теперь и надежду утратил.

Она слушала затаенно, боясь неосторожным движением или вздохом нарушить минуты душевной близости, минуты немногословной исповеди Ганса. И не сдержала досады, когда оконце окрасилось робкими отсветами зари.

— Пора,— вздохнула с сожалением.— Наши сети самые дальние, а с моря нужно вернуться вместе со всеми, пока не уедет в город Джузеппе.

И видя, что Ганс все еще во власти воспоминаний, порывисто прижалась к нему щекою:

— Не печалься: зато я нашла тебя...

6

В воскресенье все в доме поднялись рано. Накануне выбрали сети, и те сушились, загромоздив собою весь небольшой двор. Радуясь неожиданной тени, еще не исчезнувшей влажной прохладе, под сетями дремало несколько деревенских псов. Они зло косились на Ганса, точно все еще не могли простить ему встречи на берегу, у трапа «Виктории».

В город собирались торжественно. В легком ситцевом платье, в туфлях, с гребнем в коронке волос, Сильвана казалась Гансу удивительно молодой и красивой. Она видела, что нравится ему, без конца улыбалась, усиливая тем самым в Гансе ощущение праздника. Аккуратно причесанный Пьетро нетерпеливо поглядывал на старших: мыслями он, наверное, давно уже был в пути.

Наконец закончили сборы и заперли дом. По деревне шли не спеша, как добропорядочная семья на воскресной прогулке: впереди Пьетро, за ним, в нескольких шагах позади, рядом Ганс и Сильвана. Женщина, чуть рисуясь, горделиво отвечала на поклоны соседок. Казалось, она все время хотела сказать: вот и мужья у

вас есть, и лодки с сетями получше, чем у меня, а все же я счастливее вас...

Когда минули деревню и вышли на пыльную узкую проселочную дорогу, Сильвана сняла туфли:

— Жалко, побью о камни...

Дорога тянулась вгору меж виноградников и кустов тамариска. Идти по ней, избитой копытами и колесами, было трудно, и Ганс подал Сильване руку.

Чем выше они поднимались, тем все шире слева открывались взору и бухта, и дальше за бухтой — море, отодвинувшее куда-то вдаль горизонт. Чудилось, что и море сегодня отдыхает от вечных трудов, нежится в неподвижности и безделии, набросив на себя праздничный, чуть ли не подвенечный наряд из солнечных отблесков. И эти отблески переливались на нем, как стеклярус, и исчезали затем у самого горизонта в едва уловимой дымке-вуали.

А рядом с дорогой млели виноградные листья, обвисая под тяжестью солнца, дымчато замерли цветы тамариска, и на высоких обвалах гор, буквально на глазах, растворялись в вязкости зноя остатки утренних теней. Солнце перешагнуло горный барьер, ограждавший бухту и побережье, и сразу кончилось утро, наступил полноправный день — еще не злой, но уже сухой и горячий.

Словно подтверждая, что день набрал силу, Сильвану, Ганса и Пьетро оглушило шоссе, когда они вышли к нему. Проносились, сигналя, машины, тарахтели арбы, жались к обочинам велосипедисты. Громкие приветствия, галдеж, незлобивая, с оттенком веселой возбужденности перебранка, которая возникала то там, то тут, — все это уже на шоссе создавало впечатление шумного провинциального праздника. Люди радовались тому, что оторвались хоть на короткое время от тяжкого труда, вырвались из круга будничных повседневных забот, однообразных и потому надоевших. Обретя эту праздничную свободу, они свою радость выражали в крикливой несдержанности во всем: в шутках, спорах, быстрых знакомствах и таких же скорых размолвках.

Подошел автобус — неуклюжий, заполненный до отказа. Но Сильвана с мужеством, которого Ганс не ожидал от нее, ринулась вдруг в раскрывшиеся двери,

орудуя локтями, плечами, одновременно не оставляя без ответа ни одного возмущенного возгласа пассажиров. В конце концов они втиснулись в машину. И тотчас же страсти, вызванные их бурным вторжением, улеглись. Какие-то парни тут же начали похваливать вслух Сильвану, подшучивая над Гансом; кто-то потеснился, освобождая место для Пьетро. Автобус покатился дальше. Сжатый плотно со всех сторон, Ганс видел через окошко краешком глаз текущую ленту асфальта да мелькавшие то и дело колеса двуколок и встречных машин.

Городок лежал среди гор, в небольшой долине. Отсюда, с центральной площади, хорошо просматривались сады, которые начинались сразу же за окраинными домами. Прямоугольные, ровные, сады придавали долине обжитой и уютный вид.

Измученные теснотою и духотой в автобусе, они с наслаждением выпили холодного, сводящего скулы оранжада. И неторопливо — куда торопиться? — побрели от площади по наиболее оживленной улице.

Город лишь просыпался. Многие окна были еще закрыты створками жалюзи. Кое-где хозяйки выкладывали на подоконники, под солнце, смятые, слежавшиеся постели. Покрикивали разносчики овощей. Мальчишки предлагали утреннюю газету.

Сильване и Гансу, которые поднялись ныне с рассветом, проделали дальний путь, казалось, что они прожили сегодня, по крайней мере, уже половину дня. Поэтому странным и удивительным было снова вернуться в утро. Оказывается, день в городке только начинался. И это тоже было одним из нежданных чудес, делавших праздник необычайным.

Подолгу задерживались у витрин; посидели в тени платанов на небольшой площади с обсохшим фонтаном посередине. Побродили по окраинам, вздыхая при виде нарядных светлых домов среди цветников и садов: живут же люди! Когда городок окончательно проснулся и оживился, зашли в магазин, и Ганс, расщедрившись, подарил Сильване нитку бус, а Пьетро — игрушечный пистолет, стрелявший водою. Себе он купил как подарок пачку дорогих сигарет.

Позже они наткнулись на кинотеатр. Ганс вопросительно взглянул на Сильвану. Женщине, видимо,

очень хотелось зайти и сюда, но она колебалась, опасаясь, что три билета обойдутся им слишком дорого. И Ганс, понимая все ее чувства, попросту взял Сильвану и Пьетро за руки и потащил в темноту зала.

Фильм показывал жизнь стареющих любовников. Показывал обстоятельно и подробно, не стыдясь зрителей. Сильвана смущенно примолкла, время от времени склоняясь к сыну, стараясь отвлечь его от зрелища.

И Ганс и Сильвана облегченно вздохнули, когда вновь очутились на улице.

Обедали в небольшой траттории, столики которой расположились прямо на улице. Ганс заказал сыр, спагетти, вино, а для Пьетро еще и мороженое. Сильвана едва не вскрикнула, когда узнала, сколько все это стоит. Но Гансу нравилось доставлять удовольствие и ей, и мальчишке. В своей скитальческой жизни он не привык задумываться над завтрашним днем и потому расставался с деньгами легко и бездумно.

За обедом, потягивая вино, он спросил у Сильваны и Пьетро одновременно:

— Ну, нравится в городе?

Мальчонка, занятый мороженым, счастливо улыбнулся в ответ, а женщина взглянула на Ганса с нежным упреком: зачем ты об этом спрашиваешь, разве не видишь?

— Мы можем сюда приезжать и чаще.

Сильвана грустно вздохнула. Видимо, не хотела сейчас портить праздничное настроение, но все же тихо произнесла:

— Не по карману нам это. Задуют осенние штормы — в море не выйдешь... Чем тогда жить?

Они не замечали времени. А день постепенно сгорал. Горы вокруг городка уже не слепили, как в полдень, сгустившимся отраженным зноем, а сонно дремали в мягких лучах предвечернего солнца. Они высветлились, свободно просматривались почти до вершин и потому казались теперь гораздо меньшими, нежели раньше.

— Пора возвращаться в деревню,— промолвила с сожалением Сильвана.

— Погоди, еще заглянем в рыбные лавки.

Чего здесь только не было! Ставрида, голубая, как море; макрель, тунцы, даже скаты, которых покупали

любители рыбьей печени... Лангусты, креветки, мидии... Все это пахло свежо и остро, глубинами и прохладой.

Ганс и Сильвана смотрели завороженно, любуясь щедрыми дарами моря, и в то же время немного печально, ибо в сравнении с этим богатством, загромоздившим прилавки, их собственные уловы казались ничтожно малыми. И только Пьетро глядел на все равнодушно, явно скучая; он оживлялся лишь в те мгновения, когда нащупывал в кармане новенький водяной пистолет.

Внезапно Ганс помрачнел. Тронул локоть Сильваны, кивнул на ярлыки: рыбу здесь продавали по цене, вчетверо выше той, какую платил им в деревне Джузеппе. Конечно, он понимал, что и Джузеппе, и торговцы зарабатывают на них. Но чтобы столько! Это был откровенный грабеж.

Привыкший безропотно сносить несправедливости и обиды, привыкший к покорности, Ганс — быть может, впервые в жизни — наливался яростью. Сильвана, как могла, успокаивала его. Что делать! Такова жизнь. Ссора с Джузеппе все равно ничего не изменит, тот может вообще отказаться от их рыбы. Не будут же они сами возить на рынок свои уловы! Да и торговцы наверняка в сговоре с ним.

Обратный путь ехали молча. За окнами автобуса появлялись и исчезали деревни, оливковые рощицы, виноградники. Пьетро устало дремал, а Ганса одолевали тяжелые, нерадостные раздумья. Сильвана права: ссора с Джузеппе ничего не изменит. В любой деревне, что мелькают за окнами, есть люди, которые не имеют даже того, что имеют они с Сильваной. Никто не поддержит его, Ганса. А ежели и поддержит — что толку? Их рыбу никто не закупит в городе, потому что бунт против Джузеппе — это бунт и против торговцев. Они не простят, будут мстить. Разве редко случается, что сети в море вдруг исчезают, что лодку находят утром с проломленным днищем, а человека избитым до полусмерти? На него, на Ганса, Джузеппе способен натравить и полицию: наверное, водит дружбу и с нею. Ему-то, Гансу, наплевать: всякий день волен уйти. Но имеет ли право он рисковать судьбой Сильваны и Пьетро?..

Словно угадав его мысли, женщина теснее прижалась к нему плечом.

Горы, кустарники, рощи тускнели и расплывались. Море лежало внизу отчужденное, сумеречное, почти ночное. На нем неподвижно застыли, как мертвые капли, отражения первых звезд.

От шоссе к деревне шли уже в темноте. Пьетро едва волочил от усталости ноги, и Ганс, где-то на полдороге, посадил его к себе на плечо. Мальчонка обхватил его шею руками и тотчас же сонно засопел над ухом. Ганс замедлил шаги, чтобы не оступиться. Впервые в жизни его касались детские руки, и он с горечью подумал о том, что доля бродяги лишала его до сих пор не только крыши над головой.

Ночью, ласкаясь, Сильвана упрашивала его:

— Только не связывайся с Джузеппе, хорошо? Он злой и мстительный.

Ганс промолчал.

Однажды, когда улов у Сильваны и Ганса оказался довольно удачным, Джузеппе, принимая рыбу от них, пошутил:

— Везет вам... Не заметите, как разбогатеете.

Как ни просила Сильвана взглядом Ганса сдержаться, промолчать, тот резко ответил:

— С тобою разбогатеешь! На рыбе ты наживаешься, а не мы!

— А я могу вашу рыбу и не брать,— недобро сузил глаза Джузеппе.— Возите в город сами,— и отодвинул от себя корзину. Женщина испуганно смотрела на него, а Ганс в сердцах махнул рукою и вышел.

Сильвана появилась минут через десять. Она ни в чем не упрекнула его, зашагала рядом насупленно и молчаливо. Но у самого дома внезапно произнесла виновато:

— Еле уговорила... Не нужно, Ганс. Его боятся не только в нашей деревне.

— То-то, что боятся, — проворчал угрюмо Ганс. — А с ним давно бы пора поговорить по-иному.

После полудня небо над морем затянуло легкою мглой. Обволакивая вершины гор, сгущались обрывки появившихся неизвестно откуда туч. Солнце померкло, словно покрылось дымкой: еще недавно ослепительное и рассеянное, занимавшее чуть ли не четверть неба, оно обрело теперь границы и форму, обозначив крутые, с желтизною бока.

Воздух был неподвижен, но в нем то и дело угадывались залетные запахи острой соленой влаги, далеких дождей и сухой африканской пыли.

Сильвана, следя с тревогой за небом, обронила:

— Сирокко идет.

Бывший матрос, Ганс хорошо знал, что это значит. Рощам и виноградникам сирокко приносит с юга тепло и желанную влагу. Но тем, кто связан с морем, приносит не мало и бед. Поэтому, заслышав слова хозяйки, Ганс поспешно стал собираться:

— Нужно в море идти, вытащить сеть.

Беспокойство владело не только Гансом: от берега, направляясь к сетям, отходили одна за другою рыбацкие лодки. Никто не ведал, сколько времени оставила людям близкая буря, поэтому гребли рыбаки размашисто, торопливо. А сеть Сильваны и Ганса была самой дальней.

Море лежало неподвижное, подозрительно гладкое, словно притаившись перед броском. Лишь временами по нему пробегали хмурые косяки не то синевы, не то ряби — тогда казалось, что море, заждавшись разгула, нетерпеливо морщится. Морщилась и Сильвана: она знала, что эту рябь гоняют по морю захлесты ветра, опередившие шторм.

Сеть вытаскивали наскоро. Десяток рыбех, что попались уже после утреннего осмотра, Ганс не выпутывал из сети, а почти выдирал, оставляя подчас в ячейках не только ворохи чешуи, но и жабры. Под тяжестью мокрой сети лодка заметно осела в воду.

— Успеть бы! — обронил он, отваливаясь всем телом в протяжном первом гребке. Лодка нехотя сдвинулась с места. А Ганс, не сбавляя темпа, садился теперь на банку лишь в те мгновения, когда заносил весла; греб же он полустоя, приподымаясь на согнутых пружинящих ногах, и только в конце гребка снова касался банки и далеко откидывался назад, почти ложился, таща за собою увесистые вальки. Скользни хоть одно перо по поверхности, не зачерпни оно воду, и он потерял бы опору, рухнул бы навзничь, спиной и затылком, в лодку. Особенно трудно было выпрямляться в конце гребка: весла, отработав свое, теряли упругость и больше не сдерживали тяжести тела. Приходилось напрягать до предела мышцы, чтобы подняться...

Поясница ныла тупою болью. Ладони горели, едва не дымясь от ожогов на пересохших отшлифованных рукоятках. Каждый гребок был таким протяжным и длинным, что легких не хватало на вдох. Ганс чувствовал, как в помутневшей, как будто бы отделившейся от всего его существа голове учащенно стучат виски: вот-вот прорвут кожу. Перед глазами без конца сменяли друг друга то море и сети, то горы и небо — и мир начинал качаться над ним, как перевернутый маятник; Сильвана виделась где-то в бескрайности, у горизонта, точно глядел на нее сквозь обратные окуляры бинокля. «Вот так умирают рикши», — мелькнула залетная мысль.

— Да не рви себе жилы! — крикнула женщина. — Разве можно так?

Ганс бросил весла. Дыша тяжело, отрывисто, словно глотал воздух, вытер одеревяневшей ладонью лицо. Но в тишине, наступившей за этим, и он и Сильвана услышали над собою тонкий дрожащий гул. Чудилось, небо, обтянутое втугую, мелко вибрирует от уже ощутимой близости штормовых ветровых порывов. И Ганс, пересиливая усталость, снова взялся за весла. Бухта еще никогда не представлялась ему такою широкой.

И все же, как ни старался Ганс опередить шторм, надвигающийся с моря, как ни выбивался из сил, — они не успели. Кабельтовых в двух от берега их догнал первый шквал. Сначала ни он, ни Сильвана не поняли, что происходит. Воздух вокруг уплотнился и отвердел, словно уперся в невидимый парус. На миг показалось, что бухту, море и лодку сковала неподвижность, окаменелость, которую пронзали лишь острые посвисты ветра. Затем, как-то вдруг, невидимый парус с шелестом распахнулся, и воздух, сгустившийся в груды, ринулся к берегу. Небо провисло, стремительно опустилось, почти смешавшись с гудящим воздухом, и вместе с ним понеслось на горы. Это были уже не небо, не воздух, не бухта — это был сирокко.

Быстро нарастали волны. Они обгоняли лодку, проносились вровень с бортами. И всякий раз Ганс, задержав дыхание, ожидал со страхом, что волна захлестнет корму. Но вал натужливо подымал ее и толкал затем крохотное суденышко вдогонку шторму. Ветер срывал закипавшие гребни, швырял колючими брызгами, точно

шрапнелью. Промокшая одежда липла к телу Сильваны, по лицу ее стекала вода. Женщина с тоскою поглядывала то на Ганса, выбивавшегося из последних сил, то на берег, что приближался гораздо медленнее, чем хотелось.

Берег клокотал вспенившимся прибоем. Волны дыбились еще на подходе к нему, словно, приподнявшись над водою, издали примеривались к решительному броску. А вздыбившись, на миг замирали, затем опрокидывались ничком, подымались, ярясь, опять и уже после этого, набирая скорость и обезумев от злобы, в бешенстве устремлялись на берег — пенясь, распластываясь, корчась и дергаясь в судорогах. Даже отсюда, с лодки, было слышно, как волны, отползая назад, корежат о дно пудовые камни. Эта кипень, не щадящая ничего, раскатывалась на добрую сотню метров — береговая приглубь сейчас казалась такой же длинной, как и тот долгий путь, который лодка уже оставила за кормой. Сумеют они проскочить это месиво ярости и воды?

На берегу их лодку ожидала вся деревня. Размахивая руками, рыбаки указывали, куда нужно править, чтобы не напороться на камни. И Ганс впервые за этот рискованный рейс измученно улыбнулся: его тронуло участие соседей. Что ж, беда всегда сближает людей, а помощь друг другу — неписаный закон моряков. В подобных случаях не существует ни предрассудков, ни старых взаимных обид, ни даже вражды...

Теперь предстояло самое опасное. Перед тем как войти в полосу прибоя, Ганс замедлил гребки, чтобы перевести дыхание.

— Будешь править точно за волной,— сказал он Сильване. И, помедлив, добавил: — Если нас перевернет, отплывай подальше от сетей и лодки.

Женщина притихла, съежилась. Она с испугом смотрела на белую клубящуюся пену, распластавшуюся до самого берега. И Ганс, пожалев ее, уже бодрее промолвил:

— Это я так, на всякий случай. Все будет хорошо: ты у меня молодец! Ну, пошли...

Он медленно подгребал к тому месту, где зыбь начинала дыбиться. Пристально глядя в море, выжидал волну покрупнее — «девятку». И хотя из матросского опыта знал, что россказни о девятом вале — чушь, что

самая большая волна не обязательно бывает девятой, стал машинально считать набегавшие гребни.

Его, этот вал, он приметил еще вдалеке. Тот шел налитой и тугой, возвышаясь над своими собратьями, и чудилось, будто все остальные волны почтительно расступаются перед ним. Ганс неотрывно глядел на него. И когда вал, стремительно пробежав с полмили, приблизился к лодке вплотную, налег изо всех оставшихся сил на весла, подставив ему корму.

И тотчас же лодку приподняло и встряхнуло. Ганс отрывисто, часто греб, не чувствуя теперь ни усталости, ни ноющей боли в отупевших мышцах, поглощенный единственной необходимостью: удержаться на гребне вала. Лодку несло с нарастающей скоростью в надвигавшуюся громаду берега, в бурлящую круговерть воды и угрожающий рокот камней, перекатывающихся по дну. В широко раскрытых глазах Сильваны немо застыл испуганный вопль. Мокрые губы ее побелели, и женщина не могла совладать с собою, сомкнуть их. А Ганс все греб, теряя остатки сил, греб почти механически, как заведенный, не имея времени даже на то, чтобы отбросить со лба липкие волосы, наползавшие на лицо. Сирокко гремел и над ними, и впереди, и под килем несущейся лодки, и казалось, что никакие усилия уже не вырвут Сильвану и Ганса из этого хаоса, в котором смешались и небо, и водоросли, и люди, ставшие неотделимыми друг от друга.

Вал протащил их на своей горбатой спине за середину прибоя. Пожалуй, он прожил дольше, чем все остальные волны. Но наступил и его черед: внезапно вал захрапел, разогнулся, точно на задних лапах, обнажив ребристый холодный гребень. Разметывая пену и брызги, обрушивая их со своей высоты подобно снежной лавине, он пошел на ненавистный берег уже не волной, а стеною.

Лодка, из-под которой выскользнул вал, провалилась вниз, груда воды, что держала ее на себе, а теперь ушла далеко вперед, закрыла на миг от Сильваны и Ганса плоскую отмель берега. Это было так неожиданно, что женщина вскрикнула. Но в ту же минуту над кормой нависла другая волна. Гансу даже почудилось, будто она пытается перепрыгнуть через суденышко. Однако волна не осилила расстояния, споткнулась и неуклюже,

плашмя, упала на спину Сильваны, на сети, на сразу отяжелевшую лодку. Медлить было нельзя — Ганс бросился через борт. Едва не захлебнулся от радости, почувствовав под ногами дно. Вцепился руками в уключину, напрягся, чтобы лодку не оттащило в море обратной волной. Камни, сдвинутые прибоем, били его по ногам, подламывали колени, и он понимал, что долго не выстоит. Но с берега — напролом через волны, пену и буруны — спешили к нему рыбаки на помощь. Они подхватили лодку и, приноровясь к очередной волне, потащили к берегу. Вконец обессиленный, Ганс ничем не мог подсобить им. Он по-прежнему держался за уключину, но теперь лишь затем, чтобы не свалиться.

Рыбаков накрывало с головою, швыряло, оттаскивало назад, к глубине. Но они знали свое ремесло: этот шторм был не первый и не последний в их жизни. С пятой или шестой волною лодка, наполненная водой, очутилась на берегу. Руль с нее сорвало и унесло, краску с днища содрало, точно скребком,— вместо краски топорщилась измочаленная древесина обшивки. Не хватало весла, корзины для рыбы, куртки. Но все это было мелочью по сравнению с той опасностью, которой только что избежали Ганс и Сильвана.

Сильвана все еще сидела в лодке — оглушенная, испуганная, вцепившись пальцами в закраины бортов. Рыбаки помогли ей выйти, начали отливать воду из лодки. Затем оттащили лодку подальше от моря, под обрыв, где уже покоились рыбацкие суда, достигшие берега раньше. Сейчас их не переворачивали кверху дном, как обычно, а оставляли на ровном киле.

Ганс, покачиваясь, отошел в сторону: его стошнило. Горло жгла горьковатая соль, которой наглотался с водой, ноги подкашивались. Мокрые ботинки и одежда, что сковывала тело холодным панцирем, казались тяжелыми, как окрестные горы. Он опустился на камень и сидел до тех пор, пока не расслышал сквозь взрывы моря оклик Сильваны.

Под обрывом распоряжался Джузеппе. Шторм только начался, никто не ведал, какую силу он наберет, и потому решено было круглосуточно дежурить у лодок. Джузеппе определял каждому время дежурства, строго-настрого наказывая тотчас же будить всю деревню, если волны дотянутся до камней-отметин.

Гансу выпало бодрствовать на берегу от сумерек до полуночи.

Двое рыбаков помогли ему донести тяжелую мокрую сеть до дома. Опасаясь ветра, Ганс не стал ее для просушки развешивать, а расстелил по двору, придавив для надежности несколькими камнями. И двор как-то сразу преобразился, показавшись уютным, словно его покрыли ковром.

Войдя в дом, Ганс начал стаскивать с себя задубевшую одежду. Рядом переодевалась Сильвана. И то, что женщина не стеснялась его, обтирала, словно при муже, сухим полотенцем плечи и груди, растрогало Ганса, согрело.

Он подошел к ней сзади, взял за плечи и прижался к ее спине. Женщина замерла от этой неожиданной ласки. А Ганс, целуя шею ее и узел мокрых еще волос, полушепотом, так как ухо Сильваны было рядом с его губами, спросил с участием и жалостью:

— Устала?

— Испугалась,— ответила она так же тихо.

— Не женское это дело...

— Что ж поделаешь, один ты не справишься.

— Мне горько видеть, как ты надрываешься возле сети, как таскаешь корзины с рыбой и мокнешь в воде... Я люблю тебя.

Женщина вздрогнула и лишь теперь, услышав эти слова, застеснявшись, прикрыла блузкой плечи. А Ганс, ласкаясь щекой об изгиб ее шеи, продолжал:

— Мне хочется, чтобы тебе жилось хоть немного легче, чем раньше, понимаешь? Люблю тебя.

Он, измученный одиночеством, бездомностью и скитаниями, вдруг почувствовал весь глубокий смысл и всю глубокую радость этих сорвавшихся слов. И потому, уже вне связи с другими признаниями, не столько для женщины, сколь для себя самого, повторил в третий раз:

— Люблю...

И тогда Сильвана, слегка откинув голову, коснулась лицом его небритого подбородка.

— Я уж думала, никогда не услышу этих слов... И теперь готова тонуть в прибое, лишь бы снова услышать их от тебя.

Он все еще не выпускал ее, и женщина, освобождаясь, заботливо предложила:

— Отдохни, тебе с темнотой на берег...

Ему не во что было переодеться. Она достала из шкафа свитер, темные полотняные брюки и стоптанные башмаки.

— Надень, это осталось от Делио...

Ганс прилег на койку. Ему очень хотелось видеть, как Сильвана расчесывает волосы. Но глаза тяжелели, слипались. Засыпая, он слышал, как за стенами дома, над деревней и дальше, в горах, стоголосо гудит сирокко, время от времени подвывая себе самому уныло и одичало — по-волчьи.

7

Когда он в сумерках вышел из дому, в лицо ударили гонимые ветром капли дождя. Сильвана, провожавшая его, вернулась, вынесла венцераду. Ганс натянул на себя жесткий просмоленный брезент и двинулся вниз по улочке, к берегу.

В порывисто-нервном гудении шторма деревня казалась мертвой. Сирокко загнал людей раньше времени в норы, в темень и сон. А может быть, люди сами обрадовались неожиданной передышке, тому, что буря лишила их, пусть на время, обязанности работать и предоставила возможность, волей-неволей, бездельничать и отсыпаться. Каменные заборы, стены домов и черные стекла окон стойко встречали навалы ветра, ограждая покой рыбаков, — и ветер, ударившись грудью о плоские крыши деревни, взмывал куда-то повыше, к вершинам гор, по пути растрепывая с шуршащим шумом измятые виноградники. Горы полнились низким дрожащим гулом, непрерывным и монотонным, как старый колокол после звона.

Как ни странно, у берега было потише. Здесь неистовствовал прибой, молотя без устали камни и отмели. Однако ветер скользил где-то поверху, над обрывом. В перерывах между ударами волн было слышно, как часто и почти мирно стучит по лодкам и венцераде невидимый дождь.

Рыбак, которого он сменял, закурив предложенную сигарету, сообщил, что для лодок пока опасности нет.

Шторм выровнялся: не усиливается и не стихает,— значит, будет свирепствовать суток трое. «Дьявольства в нем маловато, — сказал рыбак. — Степенный шторм, не психованный: должно быть, издалека идет, устал».

Оставшись один, Ганс уселся под бортом лодки, чтобы укрыться от дождя. Море таранило берег безостановочно, тупо и мерно. Когда волна, откатываясь, тащила за собой камни, и те скрежетали, ударяясь один о другой,— чудилось, будто море распарывает камнями тугое брюхо земли.

Временами доносился издалека надрывный, подобный крику, грохот железа, и Ганс догадывался, что море снова терзает «Викторию». Он представил, как глыбы воды мечутся в развороченных трюмах, кромсают последние переборки, сдвигают со ржавых фундаментов останки котлов и машины. Скрипят надстройки и палубы, скрипят шлюпбалки, а в судовых помещениях в хаосе звуков оживают корабельные призраки. Нет, не хотел бы он быть в эту ночь на «Виктории». А как там женщина на картинке? Ганс вспомнил ее, пожалел... Все-таки хорошо, что у него есть дом, Сильвана и Пьетро, что он дежурит на берегу, у лодок, как равноправный житель деревни. Здесь, в деревне, которая встретила его поначалу враждебно, он впервые в жизни узнал и заботу, и ласку, и радость домашнего очага. Он любит Сильвану, привязался к ней. И теперь не хочет никакой другой доли... Интересно, счастлива ли Сильвана?

Мысли Ганса текли, словно небо над ним, гонимое ветром. Изредка в просветах туч мелькали звезды — холодные, скользкие, как леденцы, которые кто-то долго облизывал. И тут же небо вновь становилось сплошным, непроницаемым, низким, и чудилось, будто его достигают брызги разбившихся насмерть волн, и эти брызги затем опадают на берег мелким густым дождем.

В шуме прибоя и ветра шаталась ночь и шатался берег. Время от времени Ганс подымался, глядел на камни-отметины, убеждаясь, что шторм не усиливается. Обходил лодки и снова садился под бортом, втягивал голову в жесткий ворот венцерады.

В облике ночи ничто не менялось, что могло бы напомнить о времени. Те же звуки, та же подвижная темень, те же белые пятна прибоя... И потому Ганс,

погруженный в гнетущее однообразие шторма, не мог бы ответить, час или два он уже дежурит и сколько времени осталось до смены. Он подумал об этом, лишь ощутив холод. Поначалу тот забирался под полотняные брюки, теперь же все чаще и чаще проникал и под свитер. Кожу на теле стягивало, словно она ссыхалась, да и само тело, казалось, уменьшалось, как мумия, оставляя между собой и одеждой широкий зазор для гулящего ветра. Подрагивая и ежась, Ганс с тоскою предчувствовал близкий озноб.

В последний месяц, обретя приют, он все реже вспоминал о своей болезни, о бездомных скитаниях, о злополучной марсельской ночи. Забывал и о том, что нужно беречься, особенно в такие вот дни... Хотя как бы мог он уберечься сегодня? Оставить в море на растерзание шторму сеть? Увильнуть от дежурства у лодок — после того как рыбаки-соседи, рискуя собой, вытаскивали Сильвану и его из прибоя? Нет, нельзя нарушать моряцкое братство. Но он, Ганс, ни в чем не повинен: так случилось. Так будет еще случаться множество раз. И, значит, хватит об этом думать... А может, пронесет? Вот только этот проклятый привкус во рту!

Голова тяжелела, и волны, казалось, били уже не в камни на берегу, а в нее. Темнота размягчалась и плавилась, становилась текучей и вязкой: ее было трудно раздвинуть, чтобы подняться. Сплошной надоедливый гул урагана полнил теперь собою не только горы и море, но и колени Ганса, и плечи, и кисти рук. Кисти казались разбухшими, как мертвая рыба.

Мысли—громоздкие, непроворотливые—вытеснялись обрывками сновидений — бредовых, горячечных, потусторонних. И Ганс, забываясь, надолго терял ощущение реальности... Он становился кровным братом любого камня, валявшегося на берегу. И вряд ли бы удивился, если б узнал вдруг, что буря длится, не прекращаясь, множество лет, с той самой поры, как он появился на свет. Сильвана и обретенный дом — то сказка, обрывки снов; а он, сколько помнит себя, страдает от холода, от дождя и от такой непрочной крыши над головой, как влажное штормовое небо. Так стоит ли сопротивляться извечному и неизбежному?..

Как тоскливо скрипит земной шар, поворачиваясь на ржавой оси! Скрипят переборки «Виктории», скрипят

окрестные горы, шатаясь под ветром, скрипят суставы в онемевших коленях. Тяжесть мрака давит на них. А волны, что накатываются на берег, выбрасывают не камни, а обломки миров. Минувших и будущих. Эти миры, образующие земную твердь, бессмертны, ибо не ведают ни озноба, ни боли. Они равнодушны были и к нашим пращурам, умершим тысячи лет назад, они равнодушны и к тем, кто околевает ныне. Им наплевать на человеческие страсти, на государства, на те границы, что люди возводят между собой. Разве можно Балканы отделить от Апеннин? Европу от Африки? Дно океана от гор? Все едино — и только люди, чтоб разделиться, придумали разных богов. Но время от времени твердь сотрясает людей ураганами, дабы люди окончательно не забылись, не уверовали в свое всемогущество и первородство. И как хорошо, что он, Ганс, успел превратиться в камень и слился тем самым с мирами, не знающими ни времени, ни тревог.

Он долго не мог ничего понять, когда увидел над собой человека. Тот, наклонившись, с испугом теребил его за плечо.

Цепляясь за лодку, Ганс медленно поднялся. Рыбак, пришедший его сменить, случайно дотронувшись до его ладони, воскликнул:

— Э, да у тебя жар!

— Который час?

— Не знаю, в доме нет часов... должно быть, полночь.

Ганс осматривался, словно попал на берег впервые. По-прежнему раскалывался прибой, исчезая во мраке белыми россыпями. Гудело, вибрируя, небо. И стонали, вздыхали натужно горы, кряхтя под непосильными ударами ветра.

Рыбак полуобнял Ганса и по тропинке, скользкой от влаги, помог взобраться на обрыв. Здесь, наверху, шторм как-то сразу стал оглушительнее и гуще. Дождь, возле лодок мягкий, был теперь колким и острым. Ветер врывался в улочки под напором, гнул и качал деревья, хлопал незапертыми калитками. Где-то в закутках, во дворах, поскуливали озябшие псы.

— Дойдешь сам? — поинтересовался рыбак. Ганс кивнул. Не оглядываясь, чтоб не растратить остатки тепла,

подгоняемый в спину шквалами и дождем, он побрел покачиваясь к дому.

В руках уже не было сил, поэтому дверь открыл, навалившись плечом. Пошатываясь, на ощупь вошел в комнату и прислонился к стене. Услышав, как тяжело он дышит, вскочила с постели Сильвана.

— Что с тобой? — метнулась к нему. — Да ты весь горишь!

Она торопливо начала стаскивать с него одежду, и Ганс не противился, поглощенный единственной мыслью: не рухнуть бы на пол. Комната медленно плыла перед ним. Прикосновения Сильваны казались такими же студеными, как и порывы ветра на берегу.

— Садись. Глотни немного вина.

Он выпил, не отрываясь, полный стакан, но теплее ему не стало. Прилег, натянув до подбородка ветхое тонкое одеяло.

— Что с тобою, Ганс? — тревожно спрашивала женщина, склоняясь над ним.

— З-знобит, — ответил он, почти заикаясь: зубы мелко стучали, и каждый отдельный звук приходилось насильственно прижимать к другому, чтобы сложилось слово.

Какое-то время Сильвана раздумывала, затем приподняла край одеяла и легла рядом с Гансом.

— Сейчас согреешься, милый, — успокаивала по-матерински ласково. — Сейчас...

Ее распущенные волосы были мягкими, как морская трава. Ганс чувствовал на своем лице дыхание женщины; близкий шепот ее хотя и не согревал, однако обволакивал дремой, и эта дрема облегчала течение приступа, все больше и больше отдаляя сознание Ганса от штормового холодного моря.

Вместо бури и мельтешащего хаоса перед глазами — в него входили устоявшаяся тишина, неподвижность, извечный покой. В какие-то мгновения этот покой узнавался по белой графичности линий, по синеватым косым полутеням, по серебристому воздуху, что плавал, искрясь, над миром.

И Ганс, возвращаясь время от времени снова к реальной жизни, думал о том, что и женщина, лежащая рядом, сейчас войдет вместе с ним в его привычную белую сказку и в белую боль.

А белая сказка без конца изменялась, расплываясь и возникая опять, и тени то удлинялись, то укорачивались, то исчезали совсем — тогда в вышине появлялись звезды, хрупкие и немигающие, словно их вырубили изо льда. За зубчатым горизонтом вставали багровые сполохи, и небо над ними качалось, то приближаясь, то вдруг с испугом отодвигаясь в черную звездную глубину. Басовито и в то же время приглушенно, как-то утробно, перекатывались громы. Однако ночь, несмотря на зарево, была такой студеной и колкой, что ноздри слипались от ее остроты.

Рассвет возвращал белизну. Тускнели звезды, и чудилось, будто они, после ночных пожаров, покрыты налетом гари. Над белизною, подчеркивая ее, стелились дымы — черные, длинные и медлительные. Синие тени полосовали блистающую под солнцем стынь, и выли на эти тени собаки — протяжно и обреченно... Скрипели белые вертикали мохнатых стволов-исполинов, скрипели наледью веревки под мрачной пугающей перекладиной. Белизна ослепляла до боли в глазах, и те покрывались негнущейся жесткой коркой.

Потом, словно молния-озарение, лишь на миг вырос темнеющий угол из крупных обтесанных бревен. Чернотная позолота на образах, тлеющий свет лампады да осуждающе хмурые лики святых. И чей-то горячечный шепот — быть может, Сильваны? Только слова молитвы какие-то непонятные, чужие — и в то же время тревожащие. «Господи, сохрани и помилуй!»

И снова — яркая белизна. В синих тенях рыдает женщина, закутанная в платок. Где он видел ее? И когда? Но видел, видел — это он знает точно. Он даже помнит запах ее ладоней и нежность пальцев, когда она гладит по голове. И голос знает ее, хотя никогда не слышал. И этот мягкий серый платок...

Почему она плачет?.. Чьи-то руки вдруг подхватывают его, несут — и вот вместо белого сна он видит рыжий оскал и шершавое зеленое сукно. Женщина бросается вслед, падает на колени, протягивает руки. Она кричит — отчаянно, дико, почти смертельно. Откликаясь этому крику, он пытается вырваться из цепких звериных рук, но те бьют его по лицу — и белая тьма становится красной. Он тоже кричит, но крик застревает в горле вместе с кровью и со слезами, и потому лишь

глухое мычание вырывается изо рта. Мм-мм-а-а-а... Мм-мм-а-а-а...

Грохот, собачий лай, истошный крик женщины... Рыжие руки-пауки... Мм-мм-а-а-а... Мм-мм-а-а-а...

— Ганс, Ганс, проснись! — врывается в белый сон испуганный голос Сильваны. — Проснись!

Он очнулся. Мычанье еще давило спазмами горло, и лицо женщины, искаженное ужасом, не успело исчезнуть из глаз.

— Что ты видел во сне? — теребила его взволнованная Сильвана. — Ты кричал. Ты кричал во сне: мама Маша!

«Мама Маша?» Неужели именно эти слова рвались во сне наружу? И что это значит: «Мама Маша»?..

Он приподнялся в постели и сел. Обхватив руками колени, смотрел в темноту, пытаясь вспомнить что-либо еще. Рядом выжидающе затаила дыхание Сильвана. Но мысли ускользали, и Ганс не мог проследить за ними. Память, еще минуту назад податливая, чувствительная, как незатянувшийся шрам, снова окаменела. За жесткую корку ее невозможно было проникнуть даже вслед за обрывками сновидений — еще не остывшими, оживающими перед глазами... Может быть, белые сновидения вовсе не бред? Тогда что же? Картины забытого детства? Родных? Быть может, все, что он видел и пережил, затаилось в закутках сердца, — и это перворожденное, коренное не смогли убить или вытравить ни те бесконечные города, по которым скитался, ни марсельская зимняя ночь, ни даже встреча с Сильваной и родившаяся любовь к ней? А в минуты приступов, когда в борьбу против болезни вступает его естество, то кровное, что в нем сохранилось, вдруг воскресает, являясь в расплывчатом облике белых лесов? Да и только ли — лесов? Вот сегодня — и эта женщина... Кто она? Мать? Сестра? И может быть, есть у него и братья?..

— Что я еще кричал?

— Еще ты стонал, — поспешно ответила Сильвана и тут же предложила: — Спи, Ганс, я посижу над тобою...

«Чтобы отпугивать белые сны?» — подумал с испугом. Но вслух произнес:

— Как ты думаешь, что это значит: мама Маша?

— Не знаю, милый... Я по-немецки не понимаю...

— Это не по-немецки,— сказал глухо Ганс.— Кажется, это по-русски.

Она вздрогнула, замерла, вцепившись пальцами в его локоть. Но Ганс, поглощенный какими-то новыми, навязчивыми раздумьями, не заметил этого жеста — немого тревожного вскрика. Думая не о Сильване, а о себе, о своей судьбе, он размышлял вслух:

— Может, я... русский? Их много во время войны вывезли из России в Германию. Сколько мне было тогда? Три года? Четыре?..

Он говорил рассудочно, отвлеченно, блуждая мыслями в каких-то чужих, не знакомых Сильване, далях. И женщина, не зная тех далей и потому инстинктивно боясь их, желая развеять раздумья Ганса, вернуть к настоящему, порывисто обняла его, зашептала:

— Мне все равно, кто ты... Я люблю тебя! И у тебя теперь есть и дом, и жена... Будут дети. Ты хочешь, чтобы у нас были дети?

Он не ответил, и Сильвана беспомощно разомкнула руки на его шее и тихо, по-детски обиженно заплакала. И только заслышав ее всхлипывания, Ганс изумленно, торопливо спросил:

— Почему ты плачешь?

— Что же теперь будет?— глотая слезы, растерянно повторяла Сильвана. И до Ганса в конце концов дошел смысл ее слов. После долгой и напряженной паузы он произнес, уже без недавнего возбуждения, скорее только затем, чтобы оправдаться:

— У меня все-таки могут быть родные...

— Да, да, конечно,— поспешно согласилась женщина и тут же робко поинтересовалась:— Ты уедешь туда?

— Не знаю...

До утра они уже не сомкнули глаз. Время от времени притихшей Сильване Ганс рассказывал о своих скитаниях, о приступах болезни, о смутных снах, что сегодня, кажется, прояснились. Потом так же неожиданно надолго умолкал... А может, все это — неправда и он все же — не русский? Белые сны могли оказаться и Германией, и Голландией, и Данией... Разве снег и березы — только в России?.. «Мама Маша! Кто ты такая, мама Маша? Где ты, из какой страны? И почему навсегда сохранилась в сердце, мама Маша?»

— Ты уедешь от меня? — снова спрашивала Сильвана.

— Не знаю... В конце концов, мы можем быть вместе где угодно...

— Наши белые сны — Италия, — вздохнула женщина.

Окошко на противоположной стене начинало сереть. За ним по-прежнему буйствовал сирокко. Тутовое дерево во дворе, раскачиваемое ветром, царапалось в дверь, будто просило впустить его в дом, к людскому теплу. Оно тоже не хотело быть бездомным... А над деревней, над побережьем стонали горы, встречая новый штормовой день усталым однообразным гулом.

8

Сильвана не скрывала печали, и потому утром вся деревня знала о том, что Ганс — возможно, русский. В рыбацких семьях во время шторма нечего делать. К тому же подобное случалось не часто. Не удивительно, что в этот день в деревне только и было разговоров, что о Сильване и Гансе.

Когда в полдень Ганс пришел на берег, рыбаки, собравшиеся у лодок, тотчас же обступили его. Без конца спрашивали, — но что он мог ответить! Рассказывать о приступах болезни? О видениях? О том, что, возможно, его, малолетка, увезли из России в Германию?..

— Выведай все сначала: всякое о России говорят.

— Жаль Сильвану, снова одна останется...

Джузеппе, который вычерпывал из лодки воду, налитую за ночь дождем, ухмыльнулся:

— Пусть едет... Всех, кто туда возвращается, ссылают в Сибирь.

— Ты-то откуда знаешь?

— Знаю. Когда был в городе, в газете читал.

Никто не возражал ему, ибо представление о далекой России у всех было самое смутное. Лишь глядели теперь на Ганса с еще большим сочувствием.

Шторм не стихал. Потолкавшись на берегу, рыбаки начали медленно расходиться. У моря остались только собаки: рылись мордами в водорослях, выброшенных прибоем, отыскивая еду.

Дома Сильвана встретила Ганса новостью:

— В городе, говорят, есть один русский, в оркестре играет в ресторане. Может, съездим к нему?

Что мог русский, играющий в ресторане, поведать ему, Гансу! Объяснить тревожные сны? Узнать в них Россию и тем подтвердить догадку? А если просто подымет на смех... «Приснилось парню, что он — русский. Мало ли что кому снится!»

Ганс присел возле Пьетро, стал помогать мальчику мастерить из обрубка дерева саблю. Ловил на себе тоскливые взгляды Сильваны. Что ж, он понимал женщину: ему тоже не легко будет расстаться с ней, даже на время. А может, не уезжать? Остаться с Сильваной и Пьетро здесь навсегда? В конце концов, он ничего о России не знает. Как и о себе. Что и кого там будет разыскивать? Не помня ни имени своего, ни места, где жил... Да и жил ли? А здесь у него есть дом, лодка и сети, чтобы кормиться. Что же еще человеку надо!

Нет, нет... Быть может, если он увидит снега и леса, если сны его превратятся в реальность, он вспомнит еще что-нибудь, опознает, попросту догадается. Имя «Маша», которое выкрикнул он в ознобе, не могло возникнуть случайно.

— Ты хотел бы поехать в Россию? — спросил он у Пьетро тихо, чтобы не слышала женщина.

— Лучше в Африку, — ответил мальчишка, — там зебры и львы.

Пьетро сунул за пояс саблю и вышел во двор с таким серьезным и важным видом, будто и впрямь отправился охотиться на львов. На миг ворвался в комнату ветер, всколыхнул занавеску и тут же замер в углах.

— Давай обвенчаемся, — повернулся Ганс к Сильване, — тогда я смогу тебя и Пьетро забрать с собою.

— Я привыкла к морю, к горам, к виноградникам... Видно, у нас такая судьба с тобою: встретиться и разлучиться. Ты ведь уже решил?

Разве он мог ей солгать?.. Сегодня утром, у моря, — уже не во сне, а в памяти, — мелькнули на миг, как видение, красные вагоны с тяжелыми дверьми-засовами, свирепые морды собак, рвущихся с поводов... Чье-то проклятие — и сразу же, как точка в конце фразы, — длинная автоматная очередь. Что это было? Детство его? Россия или сожженная войною Германия? Кто

объяснит ему, кто расшифрует стремительные и скупые озарения памяти?

Ганс помогал Сильване по дому с какой-то необычайной нежностью: грусть возможной разлуки витала над ними. Даже Пьетро улавливал эту тоску. А может быть, ему о чем-либо поведали мальчишки-соседи. Временами он пристально вглядывался то в мать, то в Ганса, затем бросил насупленно:

— Ты ведь обещал нашему отцу...

Ганс вздрогнул. Он давно позабыл о той маленькой лжи, к которой прибегнул в первый день своего появления здесь из-за тогдашней враждебности Пьетро. А мальчик, оказывается, помнил его слова. И теперь с детскою прямотой упрекал в неверности. Ганс привлек его, заглянул в глаза:

— Я еще сам ничего не знаю...

И почувствовал, что краснеет от неожиданной новой лжи.

Ночью, просыпаясь, он видел, что Сильвана, лежащая рядом, не спит. Заметив, что и он очнулся от сна, женщина то порывисто начинала обнимать его, то вдруг умолкала, задумавшись. Ее глаза, которые Ганс целовал, были влажны.

Он понимал, что приносит женщине горе. Но разве ему самому легче? Он, Ганс, нашел в этой женщине все, о чем тосковал, скитаясь по свету. И сам он стал для Сильваны нежданной, быть может, последней сбывшейся надеждой. А теперь обрекает на боль и себя, и ее. Стоит ли того Россия — далекая и незнакомая?

Жаль, что он ничего не ведает о России. Да и о чем вообще он, собственно говоря, знал! Помнится, несколько раз забредал в какие-то клубы, где бушевали митинги. Забредал случайно, укрываясь от непогоды. Ораторы, перебивая друг друга, отчаянно жестикулируя и призывая к чему-то собравшихся, кричали об Америке, о России, о Франции и Китае. Он не улавливал смысла речей и взаимных нападок и аплодировал тем, кто казался ему симпатичнее. Потом оказалось, что самый улыбчивый и симпатичный расхваливал Западную Германию, откуда он, Ганс, только недавно уехал. Не сдержался, крикнул что-то оратору, и тотчас же полицейский потребовал покинуть зал. С тех пор он предпочитал отогреваться на богослужениях.

— Твой Делио никогда не говорил о России? — спросил Ганс у женщины.

— Нет... Джузеппе — тот ругает Россию: у него во время войны убили там брата.— Сильвана помолчала, затем, видимо, ради объективности, добавила: — Но Джузеппе ругает теперь и Италию.

Какая же все-таки эта Россия? В портах он видел изредка русские теплоходы. Светлые, чистые, не то что греческие или турецкие... А в Неаполе встретил однажды советских туристов. Люди как люди. Такие же пронырливые, жадные до впечатлений, как все иностранцы, попадающие в чужую страну.

Россия! Самым обширным представлением о ней по-прежнему оставались — сны. Белые стволы, вознесенные к небу, посеребренный мерцающий воздух, призрачное лицо мамы Маши. Сейчас не хотелось вспоминать ни о красных вагонах, ни о плаче людей, ни об оскалившихся мордах овчарок: теперь он знал, почему ненавидит собак. Грезились — уже как мечта — белые окоемы, белые кроны деревьев, над которыми в легком белесом небе покоятся белые облака. Россия... Даже в созвучиях этого слова угадывались извечная и в то же время перворожденная нежность, певучесть, струящаяся, как марево, бесконечность. С ним трудно было соединить — и в мыслях, и в сердце — гудящее однообразие сирокко, вопли промокших голодных кошек на плоских крышах да надоедливое царапанье в дверь тутовых веток. Единственное, что этой ночью казалось Гансу созвучным России,— тихая печаль Сильваны.

— Я, может быть, еще возвращусь оттуда,— сказал он ей. Сильвана долго молчала. Потом, когда ответила, в ее словах было гораздо больше уверенности, нежели в голосе Ганса:

— Ты мог бы остаться сейчас. А если увидишь свою Россию, уже никогда не вернешься.

Почему она так уверена? Даже он, Ганс, не знает определенно... Или знает, но обманывает себя: себя, чтобы не обидеть обманом Сильвану? Сильвана — опытнее, мудрее. Она — женщина и понимает, что существует много вещей, которые для мужчины дороже любви. Ну, если и не любви, то, во всяком случае, памяти о ней. Сейчас ему трудно расстаться с Сильваной. Потом невозможно будет уйти от России.

Он был совсем маленьким, когда его увезли в Германию. Он плакал, и кто-то жестокий и рыхлый кричал и сердился: «Не смей реветь!»

Ганс поймал себя на том, что придумывает свою биографию, свое детство. А может быть, он и остальное придумал? Вагоны, собак, причитания женщин? Маму Машу?..

Текли бесконечно мысли, не приближаясь к точке. Текли потому, что радостное сознание вдруг обретенной родины омрачалось горьким предчувствием неизбежной разлуки с Сильваной и Пьетро. Оба эти чувства — и радостное и горькое — в сердце Ганса были равны, и Ганс не мог заглушить или обострить в себе какое-либо из них, чтобы принять решение твердо, спокойно и безболезненно...

Сильвана разбудила его засветло.

— Поедем в город, к этому русскому? — спросила негромко, с надеждой, что Ганс откажется. И сразу осунулась, потускнела, когда он, поколебавшись, стал одеваться.

Знакомая дорога меж виноградников разбухла от влаги, отяжелела. Ноги скользили на крутых подъемах, и Ганс то и дело помогал Сильване карабкаться вгору. Уныло, по-осеннему, шумели кусты, измятые ветром. Низкое небо безостановочно плыло с моря и в многодневном разгоне разбивалось о хмурые горы. Обрывки распоротых туч повисали на темных вершинах.

Деревня сверху казалась совсем приземистой, сглаженной штормом и придавленной к склону. Людские жилища тесно жались друг к другу, стараясь оградами и соседскими стенами заслониться от ветра. Редкие дымы над ними, едва показавшись над крышами, шарахались в сторону и, разорванные в клочья, исчезали в растрепанных зарослях тамариска. Узкие улочки деревни были тоскливо пустынны.

Таким же пустынным было сейчас шоссе. На серую гладь асфальта оседала невидимая влага, которую нес откуда-то с юга сирокко. На влажном обмякшем асфальте одиноко светлели следы проехавших ночью машин.

Ждать автобуса пришлось довольно долго. Когда наконец он подъехал, забрызганный грязью, полупустой, с угрюмым невыспавшимся шофером, Сильвана и Ганс

поспешно юркнули в неохотно раздвинувшиеся дверцы: успели изрядно озябнуть.

Ветер назойливо бился в стекла. Во время нечастых в этот день остановок было слышно, как он скользит по крыше машины. Ветер стих лишь поблизости города, когда дорога втянулась в горы. Однако на смену ему из расщелин пополз туман.

Туман затянул не только долину, которую помнил Ганс по первой поездке, не только окрестные горы, но и улицы города. Дома казались мрачными, неприветливыми. На фонтанчик, что журчал посредине площади, в этой промозглой сырости противно было смотреть.

— Где мы отыщем... этого музыканта? — усомнился Ганс.

— Найдем, — грустно успокоила его Сильвана и, взяв Ганса за руку, свернула в боковую улочку.

Ресторан открывался только в двенадцать, и у них оказалась уйма свободного времени. Побрели по городу — бесцельно, не зная, как скоротать несколько долгих часов.

День был будничный, и городок совсем не казался ленивым и праздным, как в прошлый приезд. Тускло светили лампочки в крохотных лавках. Позванивали колокольцами ослики, навьюченные поклажей. Слабые порывы ветра, пробившиеся сквозь горы, разносили по улицам запахи бензина, овечьей кожи, непроветренных квартир и подъездов, фруктов, рыбы, какого-то варева. Туман придавал городку вид скучный и озабоченный.

Несколько раз им встречались группы мужчин — небритых, плохо одетых, с узлами и чемоданчиками. Мужчины сидели на тротуарах, курили, вяло переговариваясь между собой.

— Наверное, батраки, — сказала Сильвана. — Приехали на уборку фруктов, да, видно, не очень им повезло.

Прошла небольшая процессия капуцинов с копилками для пожертвований. Но прохожие равнодушно спешили мимо, не одаряя монахов не то что монетой — даже взглядом.

Не заметили, как очутились возле рыбной лавки. И Ганс, сам не зная зачем, потащил Сильвану туда.

Рыбы было немного: сказывался шторм, что обрушился на побережье. И стоила рыба сейчас на треть

дороже, нежели в тот день, когда Сильвана и Ганс заходили в минувший раз.

Подошел владелец лавки, поинтересовался, что хочет выбрать себе синьора. Сильвана смутилась, а Ганс, разыгрывая из себя покупателя, недружелюбно проворчал:

— Нам это не по карману... Подождем, когда кончится шторм.

Лавочник равнодушно пожал плечом, однако заметил:

— Дело не в шторме: все дорожает — подорожала и рыба. Думаю, и эти цены не долго удержатся.

— Значит, цены поднялись раньше? — нахмурился Ганс.— Давно?

— На прошлой неделе. Что поделаешь, трудные времена,— вздохнул заученно лавочник.

Всю обратную дорогу до ресторана Ганс молчал. Но, видимо, напряженно о чем-то думал, потому что в глазах его время от времени появлялся гнев.

Официант, которого они спросили о русском, поинтересовался:

— Какой вам нужен? Их у нас двое.

Однако указал в глубину зала. Там, за столиком, сидел молодой человек. Сидел неподвижно, уставясь равнодушно и тяжело сквозь стекла окна на серую туманную улицу. Лишь изредка он опускал глаза и тогда лениво ковырял вилкой в салате.

В зале кисло пахо зеленым перцем, томатами и вином. С кухни тянуло жареным луком. И в этих тоскливых запахах, казалось оставшихся еще со вчерашнего дня, вид человека, забывшего о салате, создавал впечатление чего-то непрочного, зыбкого, случайно вырванного из примелькавшегося потока жизни.

Человек настороженно взглянул на подошедших Сильвану и Ганса. И Ганс под этим взглядом почувствовал вдруг себя,— как бывало раньше,— забитым и беззащитным, бездомным скитальцем, прежним Гансом-отшельником, молчуном. Он неловко переминался с ноги на ногу, и эта пауза еще больше настораживала человека, отчуждала их от него. Выручила Сильвана. Она торопливо начала рассказывать о том, что Ганс, может быть, русский, однако не подозревал прежде об этом и теперь хотел бы поговорить с синьором маэстро,

который, как они слышали, тоже русский... Музыкант не совсем хорошо понимал итальянский, и это мешало ему уловить смысл и без того запутанного и сбивчивого рассказа женщины. Он жестом пригласил Сильвану и Ганса присесть.

Усевшись, Сильвана снова заговорила, однако теперь уже медленнее, не торопясь, печально, ибо медлительность речи оставляла женщине время для собственных дум. Музыкант в конце концов понял, что эти двое интересуются им и Россией.

— Да, я выбрал свободу,— сказал он устало и в то же время с подчеркнутым вызовом, как человек, который заранее опасается, что ему могут и не поверить.— Свободу! Я люблю ритмы, люблю музыку, которая... возбуждает. Вот почему я выбрал свободу,— повторил он в третий раз слово, которое, видимо, успел заучить. Вообще же говорил он хоть и горячо и нервно, однако с паузами, подыскивая и припоминая необходимые слова.— Мне надоела музыка, построенная на идеях и логике! Я за абсурд. За поиск в ритме, а не в мелодии. Я художник, черт побери, а не проповедник.

Он умолк, как-то враз обессилев, и Ганс, воспользовавшись этим, робко спросил:

— Вы не могли там найти работу?

— Работы там хватает,— поморщился музыкант.— Даже больше, чем человеку надо. Но всюду только одно: музыка должна воспитывать, воодушевлять,— явно передразнивал он кого-то.— Удавиться можно с тоски!

Ганс пытался понять собеседника, пытался сообразить, от чего же, в конце концов, бежал этот парень — бежал из родной страны в захолустный и нерадостный городишко на юге Италии.

— Вас преследовали?— снова спросил он несмело. И окончательно растерялся, так как вопрос его почему-то вдруг разозлил музыканта.

— Да, представьте себе!.. В газете напечатали обо мне фельетон...

— И после этого вас лишили работы?— поспешила на помощь Сильвана, хотя, как и Ганс, почти ничего не уяснила из рассказанного.

— Почему лишили?— раздражался все больше музыкант.— Я сам не захотел играть калинки-малинки да про всякие подмосковные вечера. И выбрал свободу.

Он начинал повторяться, повторяться примитивно. К тому ж раздражался все больше, и Ганс решил проститься.

— До свидания,— буркнул музыкант.— Может, вам нужен кто-то другой? Есть тут у нас, посуду моет. Патри-от!

Он опять склонился над салатом. Ганс почему-то подумал, что сделал он это лишь для того, чтобы не встретиться с ними взглядами.

— Какой-то он того...— покрутила пальцем у лба Сильвана, когда они отошли.— Наверное, сбежал с большими деньгами. Иначе откуда у него свобода!

Ганс хотел было тотчас уйти из ресторана, однако с неожиданной настойчивостью Сильвана потащила его в маленькую дверь, ведущую на кухню.

У груды немытой посуды стоял старик — плотный, высокий, с редкими седыми волосами, слипшимися от влаги. Сильвана сразу же обратилась к нему.

— Вы — русский?

— Вам-то что до этого?— недружелюбно ответил тот. Она не обратила внимания на враждебный тон и торопливо, теперь уже увереннее, нежели в первый раз, повторила рассказ о Гансе. Сообщила и о разговоре с музыкантом, и старик внезапно со злостью сказал:

— Саксофонист — кретин и щенок. Свобо-о-ода! А музыку играют повсюду ту, какую заказывают.— И взглянул на Ганса уже с любопытством.

— Вы давно оттуда?—осмелел Ганс.

— Давно, полвека,— вздохнул старик.— А Россия и поныне мне снится... Бывало, подует ветер с гор...

— Разве в России есть горы?— удивленно перебила Сильвана. Старик засмеялся, и не трудно было заметить, что разговор о далекой стране приятен ему и мил.

— В России, синьора, все есть: и моря, и пустыни, и горы. Россия — это полмира.

— Почему же не вернетесь туда? — настороженно поинтересовался Ганс. Старик нахмурился, однако прямо, не пряча глаз и в тоже время с нескрываемой тоскою ответил:

— Мне дороги туда заказаны... В революцию воевал я там, да только стрелял не в ту сторону. Хотел уберечь свой хутор и землю, а вышло, что потерял себя.

Человек без родины — что сухое дерево: хоть и торчит над землею, а радости от него никакой.

Сильвана испуганно смотрела на старика, словно ожидала приговора. Ей хотелось, чтобы Россия оказалась страною мрачной, недружелюбной: где-то в тайниках души теплилась надежда, что воспоминания собеседника насторожат Ганса. Но старик неожиданно улыбнулся:

— Россию описать невозможно, как невозможно рассказать о женщине, которую любишь. Для этого надо родиться графом Толстым. Я многое повидал на веку, а скажу: Россия одна, второй на земле бог не создал. И ты, парень, езжай,— обратился он к Гансу,— чего же тут раздумывать да гадать! Кто ты здесь, на чужбине? А там — все родное, кровное... Росами, от которых пошла Россия, дышишь. И каждая песня с тобой за руку здоровается. Да что говорить,— махнул он в сердцах рукою,— в России и крестятся даже не так, как здесь: поразмашистее, свободнее!

— А он... почему же?— покосился Ганс на зал, где сидел музыкант.

— Который на самоваре играет?— брезгливо переспросил старик.— Болван. В детстве, видать, вожжами не драли.

Он внезапно задышал неровно и часто и, отводя глаза, уже тихо добавил:

— И вот что... Будешь там — поклонись земле нашей. Пусть не гневается на блудного сына Якова Прозорова, простит его, старого дурака. Скажи, что сам он себе уготовил такую кару, какую и черная смерть с похмелья не придумала бы.

Старик тяжело шагнул к Гансу, обнял его и медленно троекратно поцеловал. Потом как-то вдруг захлебнулся вздохом и, не сдержавшись, поспешно отвернулся, уткнув лицо во вздрагивающую старческую ладонь.

Перед тем как сесть в автобус, они долго рассматривали в витрине редакции местной газеты карту мира. Советский Союз на карте был огромен и многоцветен. Добрый десяток морей и два океана ластились к его берегам. Чтоб попасть из восточных советских гаваней в западные, нужно было совершить чуть ли не кругосветное плавание. Полярные льды и тропики, равнины и горы, тайгу и пески — все вмещала в себе страна.

И где-то на ее необъятных просторах затерялась точка, в которой, быть может, родился он, Ганс. Эту точку трудно представить даже на карте. Возможно ли отыскать ее на земле?

Интересно, кем бы он был в России? Крестьянином? Рабочим? Или летал бы в космос, как те улыбчивые русские парни, портреты которых печатают в газетах?..

Молчала Сильвана, искоса поглядывая на Ганса. И по его молчаливо возбужденному виду догадывалась, что одиночество и сиротство — быть может, вечные — вновь становились ее бытием.

Автобус вырвался из ущелий и туманов на побережье. Здесь по-прежнему властвовал шторм. Ветер исхлестывал виноградники и придорожные кусты, разметывал вязкое небо и, чудилось, раскачивал горы. Ганс вздрогнул, заслышав знакомые и надоевшие отголоски сирокко. В какой-то миг, как-то сразу, все показалось ему чужим: и побережье, и море, и даже деревня на берегу. Сильвана оставалась отныне единственной связью, которая еще роднила его со всем, что не было Россией. Но эта связь, пусть и единственная, была настолько значимой и емкой, что всякая радость, навеянная думами о России, вдруг становилась одновременно и горем.

9

Ветер угас к исходу четвертого дня. Но расходившееся море все еще швыряло на берег вместе с пеной гальку и водоросли.

Рыбаки бродили без дела, без конца поглядывая то на небо, то на высветлившийся горизонт: рыба ушла в глубину и вернется в бухту лишь после того, как в ней улягутся волны, а воду прогреет солнце. Бродили, дымили сигаретами, убивали время в наскучивших разговорах. Вертелась меж ними и Джузеппина, задевая то одного, то другого. Не обминула и Ганса:

— Так ты, говорят, уезжаешь в Россию?

— Может быть...

Девчонка всплеснула ладонями и с притворной жалостью посочувствовала нараспев:

— А-я-яй, кто же будет голубить Сильвану! — Затем нагло взглянула на Ганса и, не отводя глаз, добавила:

— А я бы не отпустила тебя. Присосалась бы, как пиявка.

— Джузеппина! — прикрикнул на нее отец. — Прикуси язык! — И, помолчав, ворчливо промолвил: — Пусть уезжает, одним дураком у нас меньше будет. Хлебнет еще горя в своей России...

— Больше, чем здесь, не хлебну, — спокойно отпарировал Ганс.

— Тебе здесь не нравится? — ухмыльнулся Джузеппе. — В России лучше?

Эта ухмылка, в которой одновременно сквозили и презрение к нему, Гансу, и собственное самодовольство, вывела Ганса из равновесия.

— Там хоть нет кровососов, как ты, — сказал он твердо и яростно. И объяснил рыбакам: — В городе рыба подорожала давно, а он платит, как раньше.

Джузеппе побагровел. Он резко подался вперед, готовый ринуться на Ганса, избить его, изувечить. Но известие, принесенное этим скитальцем, заставило недобро нахмуриться рыбаков. Должно быть, суровость их и сдержала Джузеппе: он все-таки хорошо знал своих земляков. Рыбаки напряженно молчали, ожидая ответа. И Джузеппе в конце концов, стараясь казаться обиженным, несправедливо оговоренным, произнес:

— Я не могу уследить за ценами, они меняются каждый день. Вот поеду в город — и выясню.

Никто ему не ответил. И он, боясь молчания рыбаков, уже решительнее и злее заговорил:

— Думаете, легко мне возиться с вашею рыбой?

— Ты ведь на ней зарабатываешь, — вставил кто-то из-за спины Ганса.

— Еще скажете — богатею! А он, — повернулся Джузеппе к Гансу, — что он знает о нашей с вами жизни! Все они, русские, такие — только развесь уши! — И теперь уже одному Гансу с угрозою процедил: — Твое счастье, что убираешься сам отсюда...

— Дело не в нем, — перебил его худой пожилой рыбак с большой головой, обросшей густыми черными волосами до самого ворота куртки. Вокруг умолкли, как смолк и Джузеппе: видимо, с этим человеком в деревне привыкли считаться. — Дело не в нем, Джузеппе, — снова сказал рыбак. — Обманывать своих — последнее дело. Ты имеешь деньги, а значит, и власть, и силу. Но

власть кончается в море. Глубины опасны для всех, Джузеппе. Так же, как горные тропы.

Глаза Джузеппе забегали, но он пересилил себя и, храбрясь, пытаясь не уронить достоинства, спросил:

— Ты мне угрожаешь, Винченцо?

— Ты нас понял, Джузеппе,— ответил рыбак и отвернулся, словно подчеркивая, что сказано все.

Джузеппе не стал задерживаться в кругу рыбаков. Что-то обиженно и сердито ворча, он поплелся в деревню. Отойдя с десяток шагов, оглянулся, и Ганс уловил в его взгляде жестокую мстительную ненависть.

Спустя немного времени рыбаки, поглядывая на Ганса, вновь невольно заговорили о России. Мнения высказывались самые противоречивые. В конце концов, наспорившись до хрипоты, рыбаки признавались:

— В газетах ни дьявола не поймешь: одни ругают русских, другие хвалят...

— Верить газетам—все равно что гадальным картам: каждая врет по своей масти.

Остаток дня Ганс хлопотал по дому. Сам не зная зачем, внес сети в дом, и комната снова стала тесной и темной. Сильвана отвернулась, поспешно вышла за дверь. А Гансу невольно вспомнился день, когда он впервые здесь появился. Не так уж давно это было, а кажется, будто прожил с Сильваной долгие годы: успел привязаться и к ней, и к Пьетро. Может, здесь его счастье, а не в России?

Палубные часы,— он так и не выяснил, с «Виктории» они или нет,— стрекотали бездумно, словно кузнечик. Было обидное несоответствие между этим стрекочущим, легкомысленным бегом времени и горестной тяжестью, которой наполняла Ганса каждая новая минута. Минуты казались ему долгими и мучительными, как ожидание похорон. Не потому ли, что он для Сильваны был уже кем-то вроде покойника? Как и Делио? Люди уходят не только одним путем...

Пришел вечер — усталый, как затихающий шторм. Ганс не ложился; он сидел на койке, обхватив голову руками. И так же молча сидела женщина — на кровати возле уснувшего Пьетро.

Сумерки сгорели мгновенно – ночь вползла в дом неразбавленной теменью. Она еще больше сгустилась в сетях, развешанных в комнате. И в этой темени

печально сидели два человека, сидели, не видя друг друга, однако настороженно улавливая движения, шорохи, даже дыхание каждого.

— Ты вправе ненавидеть меня,— сказал наконец еле слышно Ганс. Сильвана долго не отвечала. Затем покорно промолвила:

— За что же?.. После смерти Делио я ни на что не надеялась. Ты повстречался мне вдруг. Как подарок. Я благодарна судьбе и за это.

— Почему ты не хочешь поехать потом в Россию?

— Не знаю... Боюсь перемен. Здесь мой дом — пусть плохой, пусть бедный, безрадостный. Но мой... А человек привыкает, наверное, даже к своей могиле.

— В России будет... должно быть, все по-иному. Ты нужна мне не только для счастья, но и для веры.

Почему так стремительно стрекочут часы на стене? И почему все громче? Чтобы напомнить о близком прощанье?

— Ты ответишь мне, если я напишу?— спросил глухо Ганс.

— Да, — вздохнула Сильвана. — Хоть я не очень умею писать, главное ты поймешь: как плохо будет мне без тебя.

— Но мы же пока еще вместе!— вырвалось у него. И было в голосе Ганса столько боли и в то же время нежности, ласки, что женщина вскочила, метнулась к нему в темноте, шепча торопливые и сбивчивые слова...

В полночь ветер утих совсем. В оконце виднелись звезды. Примолкло за дверью, намаявшись за дни шторма, тутовое дерево — уже не царапалось в стену: уснуло от усталости. И не хотелось верить, что этот покой, опять окутавший побережье, не принесет уже радости ни ему, ни Сильване.

В России, наверное, такие же звезды. Мерцает ночь над пустынями и лесами, и росы, о которых упоминал старик, бодрят и ласкают землю. Рассвет встает широкий и щедрый: ему есть где развернуться от океана до океана. И солнце торопится, потому что ему не хватает дня, чтобы поздороваться со всею страной...

Если бы он догадался о том, что русский, немного раньше, до встречи с женщиной! Не было бы этой боли сейчас... Но ведь именно Сильвана помогла ему догадаться, расслышав ночью в бессвязных словосплетениях

«мама Маша». Боже, как многим обязан он любимой! Наверное, это в крови у женщин: делать людям добро...

Рассвет они встретили, молча прижавшись друг к другу. Сильвана не заплакала, не запричитала, когда он вымолвил короткое со вздохом: «Пора!» Поднялась, начала помогать укладывать узелок. Потом обессиленно присела на стул, уставилась в блеклый квадрат оконца, словно задумалась. Видимо, как и он, привыкла покорно сносить удары судьбы.

— Я обязательно напишу тебе,— сказал Ганс, глотая подступающий к горлу ком.— И ты приедешь туда. Ты будешь моей женой.

Подошел к Пьетро. Долго смотрел на него, прощаясь. Осторожно, чтобы не разбудить, поцеловал.

Вместе дошли они до калитки. Женщина остановилась, не выходя на улицу, и на немую просьбу его проводить еще хоть десяток шагов отрицательно покачала головой. Губы ее дрожали, глаза заволакивала туманистая дымка. Сильвана оказалась гораздо сильнее, нежели думал Ганс. Из тех женщин, что не кричат, не заламывают руки в отчаянии. А молча плачут в подушку... Так стояли они и минуту, и десять. Потом Ганс торопливо, чтобы не закричать самому, поцеловал женщину и, закусив губу, зашагал по улочке. Часто оглядывался: Сильвана неподвижно смотрела вслед.

На углу он на миг задержался, помахал прощально рукой. И, чувствуя, что может не выдержать, броситься обратно,— торопливо свернул за угол.

А может... Одного его шага достаточно, чтобы женщина стала опять счастливой, улыбчивой, радостной... Но впереди его ждет Россия. Мама Маша, братья и сестры. И он теперь может быть счастлив с Сильваною только там.

После шторма утро вставало вялое, душное. Солнце, еще не поднявшееся из-за гор, полнило небо мутною дымкой, которая обещала зной. Но за горами солнце уже светило вовсю, и потому море вдали, за мысом, искрилось зеленоватыми яркими бликами.

Изголодавшиеся чайки носились над бухтой. В утренней тишине хорошо были слышны голоса из деревни: рыбаки, потеряв из-за шторма впустую несколько дней, спешили в море. Вскоре на берегу останется только одинокая лодка Сильваны.

А вон, за деревней,— «Виктория». После шторма труба ее покосилась. Да и палуба стала короче: еще один отсек разворочен волнами. Что ж, он прощается и с «Викторией», а вместе с нею — с городами, в которых бродяжил, с марсельскою зимней ночью — с прошлым. Он возьмет из прошлого в новую жизнь лишь Сильвану и Пьетро.

С разбегу одолел раскисший пригорок и увидел неожиданно впереди двоих парней. Они стояли, загородив дорогу, наблюдая за ним, Гансом, словно специально поджидали его. В их молчаливых фигурах было что-то недоброе. «Так вот оно что! Джузеппе не простил вчерашнего разговора...»

Множество стремительных мыслей, мешая друг другу логически завершиться, мелькали в голове. Вернуться? В самом начале пути?.. Дорога пустынна, никто не придет на помощь... Если и кричать, из деревни не поспеют. Да и услышат ли?.. Интересно, есть ли у них ножи?.. Надо пробиваться... Сторониться кустов...

Ганс продолжал идти, словно ни о чем не подозревал, но глаза его цепко следили за каждым движением тех, двоих. Демонстративно сунул руку в карман и по каким-то неуловимым признакам догадался, что те двое заметили этот его жест. «Сейчас попросят сигарету, чтобы я вынул руку из кармана».

— Эй, друг, не угостишь ли сигаретой?— спросил тот, что был повыше. Спросил и, точно заранее не ожидая отказа, двинулся навстречу.

— Я не курю.

Теперь Ганс рассчитывал каждый шаг, каждый возможный прыжок — и свой, и противника, чтобы не очутиться между парнями, не отбиваться сразу с двух сторон. Но не рассчитал: тот, который приблизился, сделал вдруг выпад и с силой ударил его в лицо. Ганс отпрянул, не устоял и упал на землю.

Вслед за ударившим медленно приближался второй. В глазах его, слегка прищуренных и нацеленных, не было ни злости, ни ненависти, скорее — равнодушие; и именно это не оставляло сомнений, что пощады не будет.

Второй, подошедший, прыгнул и расчетливо ткнул ногою под ребра. Внутри у Ганса что-то тоскливо

екнуло. А первый снова ударил в лицо, и Гансу почудилось, будто расслышал, как мягко лопнула кожа где-то над бровью. Еще удар и еще — по голове, в живот, по сжатому рту — губы прилипли, как мокрые тряпки, к зубам. «Все!»— мелькнуло в отупевшем сознании.

Земля казалась тяжелой и липкой: от нее трудно было оторваться. Может быть, и у нее болели и ныли суставы, жгло, как огнем, в груди, влагою клокотало в горле? Может быть, это ее топтали и били ногами, кромсали ударами, не разбирая куда? И не над нею ли, над землею, уже заносят ножи?

И вдруг он увидел рядом острый ребристый камень. Потянулся к нему — камень едва уместился в руке. Как бы взвесив его на ладони, Ганс, собрав последние силы, поднялся на колено.

— Решили прикончить?— процедил он с ненавистью.— Только я не люблю подыхать в одиночку. И вы для компании мне вполне подходите.

Пошатываясь, отталкиваясь от земли, встал во весь рост. И странное дело: те двое остановились и даже попятились. Наверное, уловили что-то во взгляде Ганса. Или решили, что свое отработали. А он в этот миг навязчиво думал о том, что крайнего нужно бить чуть повыше лба, где волосы не так густы. И поправлял поудобнее на ладони камень: острым углом вперед.

Шагнул к обидчику, готовый нанести сокрушающий удар. И те двое не выдержали: внезапно повернулись и побежали.

— Куда же вы?— крикнул вдогонку Ганс.— Джузеппе потребует деньги обратно!

Измочаленные губы не слушались его, слова вырывались какие-то рыхлые, кусками, изорванные, как лохмотья. Вряд ли парни, что уже свернули с дороги и убегали теперь виноградником, лавируя меж кустов, услышали их и поняли.

— Эй, ловите!— крикнул он и что было сил швырнул камень вдогонку. Обида и гнев его не утихли, и он лихорадочно поднимал с дороги камни, швырял один за другим, не целясь. Те с шуршанием вспарывали листву, и парни шарахались из стороны в сторону, петляя по винограднику. А Ганс, захлебнувшийся яростью, с досадой и разочарованием убеждался, что враги теперь далеко и камней ему не добросить.

Он, наконец, осмотрелся и перевел дыхание. Провел по лицу рукою и стал вытирать о штаны кровь. Засыхая, кровь стягивала кожу,— на лбу, на щеках, над губами,— мешая смотреть и сплевывать. Тяжело дыша, дергая разбитым, наполненным вязкою влагою носом, Ганс начал медленно собирать пожитки.

Солнце поднялось над горами. Побережье пробуждалось навстречу дню, широко раскрывая дали. Сбросив тени, золотились в утренней дымке рощи, а над ними заносчиво и надменно торчали утесы, словно крикливо гордились тем, что вынесли натиск минувшего шторма.

Голубело все больше небо, опрокидываясь у горизонта к морю. Где-то мерно и успокаивающе поскрипывала арба. На близком шоссе, еще не видимом за кустарником, призывно гудели автомобили.

Что ж, он продолжит свой путь. Туда, где уже не снами, а бытием высятся белые вертикали стволов. Где в белых кронах сверкает серебряный иней и падает белыми хлопьями в белые тени. Звенят ручьи, пробиваясь сквозь белый наст, лопочут в далеком небе белые птицы, ключом тянущиеся к северу, и белым весенним цветеньем одеваются, как парусами, сады и леса.

Он шел, прихрамывая, снова переживая мысленно и разлуку с Сильваной, и драку, и все надежды. И вдруг начал смутно догадываться, что он, Ганс, вовсе не исключение, что не только для него, но и для каждого человека, наверное, обретение родины лежит через мужество, через ярость и через кровь.



НАЗОВИТЕ УРАГАН „МАРИЕЙ“

повесть



Всем ураганам метеорологи присваивают женские имена. Газеты то и дело пестрят сообщениями: ураган Эмма обрушился на Японию... Тайфун Долли пронесся над Филиппинами... Двенадцатибальная Флора свирепствует над Гаваной... В такие дни эфир переполнен треском грозовых разрядов, мольбами о помощи, отчаянным криком корабельных раций. В хаосе разных помех, в гуле, в шумах, набивающихся в наушники, чудится и неистовство океана, и раскаты горных обвалов, и предсмертные стоны исчезающих деревень, островов, атоллов. Женские имена, обычно звучащие ласково, нежно, в такие дни становятся черными, как проклятье.

Джульетта забрала у человечества несколько сотен жизней. Изольда сравняла с поверхностью моря остров. Кэтрин разбудила дремавшие Анды, и континент лихорадило месяц в приступах землетрясений. В объятиях Мэри навечно осталось девять судов.

И все же бывают и в ураганах своя красота и своя привлекательность. Как в риске. Как в удали. Как в порыве. Тогда имена, отмеченные на картах зигзагами вихрей и эпицентрами антициклонов, приобретают влекущую романтическую загадочность, даже поэзию. Быть может, потому, что помогают людям обрести собственные силы и мужество.

В ураганах много не только бездумной ярости, но и величия, прямоты, неподкупности, которых — увы! — не хватает людям. Если бы ураганы обладали целью и справедливостью, они восхищали бы, как революции.

Ураганы не знают ханжества. Они расслаивают характеры, оголяя в них светлое или мерзкое,— кто уж что заслужил! И люди, которым не страшно рискнуть, не только не уклоняются от тайфунов, но с вызовом, порою даже с восторгом окунаются в них. Ураганы рождают раздумья мгновенные, порывистые, а значит, и неожиданные, ибо не оставляют времени для вариантов, рассудочных доводов и сомнений, равно как и для мелких земных страстей. Мысли, рожденные в урагане,— отточены и непорочны, как проблески маяка в осенней темной ночи. Пусть в этих мыслях не открываются новые истины — в них вспоминаются старые, которые человечество успело забыть.

Как и люди, ураганы случаются разные. Постоянные: набрав до предела силу, дуют затем и сутки, и двое, и четверо — крепко, упруго, ровно. Эти обычно приходят с востока. С ними, даже под штормовыми зарифленными парусами, можно в неделю пересечь океан. Если, конечно, выдержат мачты и нервы... Западные же, как правило, издерганы, нервны, злы. Бросаются с румба на румб, меняя без конца направления, стервенеют, срывают верхушки волн. Такие лучше обходить стороной: можно выстоять против самого свирепого шквала, против глупости выстоять невозможно.

Именно такой оказалась Аза. Она металась над океаном в узком пространстве в тысячу миль, затмевая небо и звезды, скрывая в грозах и ливнях неверные горизонты и рифы. К югу от тропика она нагнала четырехмачтовую баркентину «Пламенеющая». Стеньги, гудя от ветра, сдержали первый натиск. Тогда Аза метнулась в сторону и вдруг ударила судно в борт. Матросы не успели исполнить команду шкипера — «Пламенеющая» завалилась набок, не смогла распрямиться и плашмя легла парусами на воду. Аза выбрасывала на рифы рыбацкие парусники, раскачивала тысячетонные лайнеры, сквозь переборки которых начинала просачиваться вода... Ее ожидали со страхом на юге, она же вдруг круто повернула к северу и обрушилась на континент. Опрокидывала автомобили и поезда, выворачивала

вековые деревья, срывала крыши жилищ и проемы мостов. В тот день на всем побережье гудели колокола. Миноносцы, застигнутые врасплох, расстреливали из пушек смерчи.

Аза издохла в джунглях Юго-Восточной Азии.

Но встречатся ураганы удивительной и необъяснимой красоты. К примеру, редкие ураганы в лунные ночи... Море — сплошное подвижное серебро. Это тусклое серебро вздымается, дыбится, низвергается, в тенях и блеске, в сверкающих россыпях, в непрерывных и ускользающих перепадах прямого и отраженного лунного света. Волны теряют привычные контуры, рушатся и слагаются вновь из обломков, и потому море, в каждый миг меняя рельеф, является взору и тотчас же исчезает — то громадами гор, то глубокими переулками меж валов-домов. Горы серебра так велики, что самые высокие мачты не могут сравняться с ними. Человек алчный умер бы при виде такого богатства...

А над всем этим, над хаосом серебра,— покой, неподвижность сияния неба. Голубоватого, мертвого, оцепеневшего. В этом покое столько величия, столько глубокой непроницаемости, что замирает сердце: от восторга, от страха, от счастья и злых предчувствий. Наверное, под таким небом придумали бога — как символ власти и неподвластности.

По таким ураганам можно затем тосковать всю жизнь. Если бы мне довелось хоть однажды подыскивать имя лунному урагану, я назвал бы его именем любимой женщины.

Мне всегда хотелось проникнуть в тайну того, как возникают имена ураганов. Говорят, метеорологи составляют список имен на год и затем используют их поочередно, как номерные знаки. В это не хочется верить: уж больно все прозаично. Воображение же ищет за каждым именем необычайные обстоятельства или судьбу, радость или печаль, воспоминания иль ожиданье. Ищет поэзию, ибо живет надеждой, что в жизни каждого человека хоть однажды случается имя, которое с болью или улыбкой хочется выкрикнуть на весь океан.

Помнится, я мечтал написать рассказ о рождении урагана... Где-то у Огненной Земли зарождается новый тайфун. Скачут стрелки приборов, трещат самописцы барографов на маленькой метеостанции, затерянной на

пустынном берегу. Старик метеоролог пытается угадать, какую силу наберет новорожденный и по какому румбу метнется в ближайшие сутки. Об этом он должен предупредить мир... Теперь остается последнее: дать урагану имя. Старик одинок. Одинок всю жизнь. Он роется в памяти мучительно долго, но память не воскрешает ни одного дорогого лица, ни одного дорогого имени. Ветер гудит за стенами тоскливый, как прожитые годы. Ломит в суставах ног. Падение атмосферного давления уже узнается не по барографам, а по тяжелой старческой одышке.

И вдруг... Это всплыло на самой границе памяти. У ручья он встретил индейскую девушку — худенькую, испуганную, с длинными волосами, падающими на плечи. Было ей лет пятнадцать, и она, пугаясь всего, жалась к деревьям, камням и травам: видимо, считала их своими друзьями. Сколько же было тогда ему? Наверное, чуть побольше, чем девушке. Он тоже растерялся, увидев ее,— так и стояли они, замерев, настороженно глядя друг другу в глаза. Потом он улыбнулся и протянул несколько сладких орехов. Улыбнулась и девушка.

Он стал наведываться к ручью каждый день. И всякий раз девушка разыгрывала испуг. Но он заметил, что теперь она приходила с цветами, вплетенными в волосы.

Они садились в тени деревьев, и он рассказывал ей о городах. Она смеялась в ответ, напевая вполголоса какие-то ласковые речитативы.

Однажды, когда девушка, украшенная цветами, была особенно красива, он сказал:

— Я люблю тебя...

— Что такое люблю? — не поняла она. И снова он растерялся: девушка не знала, что значит слово *люблю*. Она ждала ответа по-детски прямо и простодушно. А он внезапно понял, что объяснить значение слова *люблю* почти невозможно. Оно — весьма отвлеченно, условно. Имеет такое множество самых различных проявлений, что, в конце концов, не имеет определенного. Такого, которое можно растолковать другими словами, точными.

Смущаясь, начал сбивчиво рассказывать ей о счастье, о том, что двое могут пройти по жизни вместе, не разлучаясь. Всегда помогать друг другу...

— Ты хочешь, чтобы я стала твоей женщиной? — поняла девушка наконец. — Принеси подарки отцу и вождю, и я перейду в твой дом. Буду готовить тебе еду и кормить молоком твоих детей.

Она произнесла это просто, без всякой игры, как, наверное, говорила о кукурузных лепешках, о воде, об охоте. И он, которого учили всю жизнь рассуждать о подобных вещах туманисто, витиевато, намеками, растерялся вконец. То, что для девушки было обыденным, будничным, само собой разумеющимся, от него требовало мужества и решительности. Мужества, чтобы перешагнуть условности мира, в котором он жил.

Он решил принести подарки — и отцу девушки, и вождю, хоть это противоречило его убеждениям о свободе человека. Подарки богатые, щедрые, чтобы возвысить ими и девушку, и свою любовь.

Но девушка внезапно исчезла. Несколько дней он подолгу напрасно ждал ее у ручья. Затем отправился на поиски, но встречал лишь испанцев. Позже узнал, что испанцы согнали индейцев с их земель и племя, к которому принадлежала девушка, ушло в горы.

Все это старику метеорологу — быть может, в последний раз — вновь подарила память, разбуженная гулом зарождающегося тайфуна. И старик улыбнулся — едва заметно, морщинами, ибо глаза его, выбеленные ветрами восьмидесяти минувших лет и непрерывным сверканием океана, уже не могли отразить ничего.

Он дал урагану имя той девушки. Сообщил расчеты в радиорубку, чтобы оповестили планету. И отправился спать.

Спал он, наверное, крепко и долго: его не тревожила совесть. У каждого есть перед человечеством долг, а он свой исполнил в тот день до конца.

Тайфун шел по свету, и каждая встреча его с людьми — ненаписанная новелла. Такие новеллы могли бы составить книгу. Книгу об урагане. Книгу, названную дважды освященным именем — урагана и девушки.

Последняя новелла этой книги была бы о девушке... В деревне, в дебрях гор, куда оттеснили индейцев чужестранцы-завоеватели, доживает свой век старуха. Беспризорная, немощная, беззубая. Она не в силах разжевывать пищу и потому лишь сосет обрезки мяса, которые бросают ей после охоты.

Старуха прожила так много лет, что уже ничего не помнит в отдельности. По ночам ей не спится, и она разговаривает со звездами и с бездомными отощавшими псами. Беззвучно плача сухими, выцветшими глазами, просит богов и идолов забрать ее наконец в страну духов... И никто в деревне не знает, как и сама старуха, что имя ее гремит в это время по свету, не сходит с газетных полос, без конца повторяется в писке портовых и корабельных раций.

Очевидно, цепь людских судеб и отношений — замкнута. Мы — три с половиною миллиарда жителей нашей планеты — сами не знаем, как накрепко связаны между собой. Если бы стало возможным проследить эти связи, мы легко убедились бы, что добро или зло, вражда или дружба, рожденные кем-либо, пройдя через круг человечества, подобно витку околоземного спутника, опять возвращается к тем, кто их породил. Только с другого, противоположного, пеленга.

Людей посторонних нет на Земле, ибо в цепи человеческих отношений, как и в природе, нет пустоты. Примеры доблести, верности, благородства — примеры для всех. Равно как и уроки низости и эгоизма...

Я не написал ни книги, ни даже рассказа. Не помню уже почему. Кажется, не нашел экзотического и броского индейского имени. А может быть, появились новые замыслы, более нужные людям. Но мне мечтается и поныне, чтобы имена ураганов возникали именно так: из сердца или из памяти.

Тем более, что в будущем люди наверняка научатся обращать ураганы на пользу. Изменять направление их, концентрировать или рассеивать облачность, полную ливней и гроз, регулировать силу. Люди построят мощные ветродвигатели и волновые турбины. Укрощенные ураганы будут отдавать огромные запасы энергии. И тогда им захочется называть именами, которые чтим, которыми восхищаемся, перед которыми преклоняемся. Нефертити, Ярославна, Офелия...

А пока... Пока снова дикторы сообщают: ураган Альма бушует над Кубой. Не прекращаются штормы в южных сороковых широтах... И, может быть, в эти часы где-то у Новой Гвинеи или у берегов Патагонии рождается новый тайфун. Что принесет он людям?

Ураганы -- что дети: не угадаешь, кем они станут, достигнув зрелости.

Но если какой-то из них родится не для горя людей, а лишь для того, чтобы испытать их мужество, если он поразит красотой и заронит величественные раздумья, если гудение ветра в стеньгах напомнит о вечности добра,— пусть не останется тогда без ответа просьба моя, обращенная к миру:

— Люди! Назовите ураган Марией!

1

Отгремел над страной ураган, имя которому — революция. Красная Армия и народ в кровавых боях разбили Юденича и Корнилова, Колчака, Деникина. Кайзеровцев, белофиннов, белополяков. Интервентов самой различной масти. А уж атаманов всяких — не перечесть...

Кончались бои в Таврии. Полчища Врангеля были загнаны в Крым. Красная Армия готовилась к штурму Перекопа, добивая последние группировки врага под Мелитополем, Никополем, Скадовском...

Осенние ветры двадцатого года, подобно взмыленным эскадронам, носились над выжженной зноем и вытоптанной конями степью, над Алешковскими песками, над пустынными одичавшими плавнями. В гирле Днепра и в лиманах штормило. В улицы Херсона врывалась, как конница, степная желтая пыль.

И лишь к средине октября поутихли ветры, подавленные низкими хмурыми тучами. В городе, в плавнях, на рейде шуршали теперь затяжные надоедливые дожди. В них терялся левый днепровский берег с затонами и хутором Перебойня.

Дожди вымывали город. Вода стекала по Воронцовской к порту, оставляя на выщербленных булыжниках обмякшие листья акаций В порту — который уж год! — цепенели в летаргическом сне холодные без паров суда.

Ночи были долгие, мрачные: без огней, с закрытыми наглухо ставнями. Их тревожили только шаги патрулей да вкрадчивые, торопливые выстрелы в переулках.

В одну из таких ночей матрос с карабином через плечо поднялся на крыльцо, скользкое от влаги и опавших кленовых листьев, постучал настойчиво в дверь. Заслышав за дверью шаги, громко доложил:

— Товарищ Мария? Вызывают в уисполком!

Уисполком — еще звучало по-новому. До сих пор в Херсоне, как во всех прифронтовых городах, действовал уездный ревком. Возглавлял его большевик, член ВЦИКа Добронравов. Но в начале октября состоялся Первый съезд Советов уезда, на котором был избран Уездный Исполнительный Комитет. Добронравов волею делегатов стал председателем уисполкома.

К этому названию привыкали медленно и — что греха таить! — неохотно: боевое слово «ревком» олицетворяло в сознании каждого победное шествие революции, предельную мобилизованность и непреклонную волю большевиков. А уисполком — с его народной демократией, с голосованием, с частыми спорами до утра, когда представителям волостей нужно не приказывать, а разъяснять... Не погубит ли это революцию?

Матрос нетерпеливо топтался у крыльца и что-то проворчал, когда из дома вышла молодая женщина в старом, поношенном пальто, повязанная платком. Зябко поеживаясь, осторожно шагнула в темноту, нащупывая ногами узкий плитчатый тротуар, но тотчас же оступилась и угодила в воду.

— Ты бы хоть поддержал меня! — упрекнула матроса.

— Звиняюсь! — ответил тот и поспешно взял женщину под руку: крепко, железной хваткой.

В помещении уисполкома было тускло от дыма махры и коптящих керосиновых ламп. Подсменные часовые спали в коридоре на лавках, обняв винтовки. А по углам, уже на полу, жались друг к другу, похрапывая, разные люди: кто в шинелишке, кто в бушлате, а кто и в рыбацкой, пахнущей дегтем куртке. «Должно быть, из окрестных сел»,— подумала Мария.

Председатель бодрствовал. Лишь расстегнутый ворот гимнастерки да жесткая щетина, успевшая отрасти на щеках, говорили о том, что его рабочий день давно уже кончился. Он пожал женщине руку, усадил в кресло. Пытливо взглянул на нее:

— Ну, насытилась мирной жизнью? Снова война...

У Марии тревожно заныло сердце: неужели опять интервенция? Тихо спросила:

— Французы? Англичане? Немцы?

— Да нет,— усмехнулся Добронравов,—старый зна-

комый. Врангель.— И стал объяснять Марии, зачем она понадобилась так срочно...

В Крыму свирепствует белая контрразведка. Рабочие Симферополя, Феодосии, Севастополя, объединившись в повстанческий полк, ушли в горы. Они готовы к действию, как только начнется наступление Красной Армии под Перекопом. Но повстанцам не хватает оружия. Доставить это оружие в Крым можно лишь одним путем: морем.

— Понимаешь,— устало говорил председатель,— в нашем городе нет ни света, ни топлива, а зима на носу. В селах поднимает голову кулачье. Да и в плавнях бродят недобитые банды. Все наши товарищи заняты до предела. Поэтому выбор уисполкома пал на тебя.

Мария поморщилась: последнее он мог бы не разъяснять. Коротко бросила:

— Дальше.

Теперь она слушала внимательно, напряженно... Для рейса выбран небольшой пароход «Аскольд». Старый, конечно, и тихоходный, но еще дышит. И осадка у него не велика, сможет подойти близко к берегу: выгружаться в Крыму придется не возле причала, в порту, а в какой-нибудь голой безлюдной бухте, известной лишь рыбакам. В общем, при слаженном экипаже — судно вполне подходящее... Но вот экипажа-то и нет. Есть капитан «Аскольда» — ворчливый, но честный старик; штурман, который пока неизвестно, какому богу молится; и машинист — этот свой. Уисполком назначит и своего радиста. Остальных надобно набирать... Конечно, в Херсоне моряков — с избытком. Но важно, чтобы не затесалась контра.

— Да разве только контра? — вздохнул Добронравов.— Суда стоят на приколе, моряки истосковались по морю. И в заработке люди нуждаются: за годы войны поизносились, наголодались. Так что откликнутся многие. А нам нужны лишь такие, кто предан революции, в опасную минуту не перекрасится.

— А матросы из Караульной роты? — спросила женщина. Председатель безнадежно махнул рукой:

— Те матросы все больше липовые. Ребята хорошие, боевые, но моря не нюхали.

— Ясно,— вымолвила Мария и снова примолкла, готовая слушать.

Вторая проблема — топливо. Ни в порту, ни на железной дороге угля нет. Собирать его придется по ведерочку, по кусочку, где только можно: в цехах неработающего судоремонтного, даже в бункерах давно остывших пароходов... Когда «Аскольд» подготовится к плаванию, скрытно погрузить оружие и выйти к берегам Крыма. Место выгрузки, радиошифры, сигналы будут уточнены перед съемкой с якоря.

— И сколько времени на все это? — поинтересовалась Мария.

— Самое большее — неделя... С утра заготовим тебе мандат — и действуй.— Председатель уисполкома помялся, смущенно и как-то виновато добавил: — Ты извини, что посылаем тебя... Понимаем, что дело не женское...

— С каких это пор ты стал разбираться в женских делах? — рассмеялась Мария. И сама зарумянилась, заметив, как покраснел Добронравов. Протянула, прощаясь, руку, заботливо посоветовала:

— Ты бы поспал... Синь под глазами — погуще моря, а утро, поди, уже на соседней улице.

— Все равно не усну,— отмахнулся.— Теперь вот о тебе думать буду...

— Спасибо,— тихо поблагодарила она. А председатель, открыв дверь, негромко окликнул:

— Сулименко! — И когда появился матрос, тот самый, что час назад вызвал ее в уисполком, приказал:— Проводишь товарища Марию домой.

Дождь кончился: в темноте было слышно, как с полуоголенных ветвей гулко опадает капель. Потеплело, и вместе с теплом возродился запах земли, опавших листьев: сырой и по-осеннему острый. Далеко за плавнями — должно быть, в Алешках — то разрасталось, то съеживалось зарево пожара. А в небе над темным, затаившимся городом тоскливо кричали гуси, тянувшиеся к югу.

— Осень,— не то вздохнул, не то промолвил матрос.

Мария думала о своем. Вот и рухнули все ее планы на будущее. Мирная жизнь для нее, едва начавшись, тут же окончилась. Снова борьба. Но она солдат революции. И закон революции для нее — самый главный.

— Ты кем, Сулименко, был раньше? — спросила, не оборачиваясь.

— Батрачил.

— А в армии в каких частях служил?

— В артиллерии.

— Почему же носишь матросскую форму?

Даже не видя спутника, шедшего чуть позади, почувствовала, как тот улыбнулся.

— Чтобы враги меня больше боялись, товарищ Мария.

Когда завернули в улицу, в которой она жила, женщина остановилась.

— Спасибо, товарищ Сулименко, дальше дойду сама: недалеко. Спокойной ночи.

— Есть, спокойной ночи,— козырнул матрос и, поправив на плече карабин, зашагал обратно.

«Ишь ты,— усмехнулась Мария, вспомнив слова Сулименко,— чтобы враги боялись! Может, и мне надеть бескозырку? Странные вещи случаются в революции: сколько моряков мечтает о плаваниях — и матросов, и капитанов... А в море пойдет она, Мария. Парадокс! Но если Ленин учит, что каждая кухарка должна уметь управлять государством, то бывшая гимназистка уметь управлять экипажем судна должна и подавно. Такова логика революции. И, значит, ее закон».

2

Старик лодочник долго торговался, прежде чем согласился перевезти Марию на противоположный берег Кошевой, к «Аскольду».

— Деньги нынче не кормят, на кой они мне? — ворчал в обвисшие измятые усы.— Заместо флага подымать на ялике? Ты, барышня, давай что-нибудь повещественней. Которое на зуб можно взять...

Сошлись на десятке спичек.

Вода неохотно расступалась перед шлюпчонкой. На весла цеплялась трава. Кошевая от берегов зарастала кувшинками и камышами; эти заросли окружали суда, и чудилось, будто те прикипели намертво к грунту. У ободранных корабельных бортов, обросших зелеными гривами водорослей, бились пудовые щуки.

— Скоро из иллюминаторов можно будет стрелять по чиркам,— невесело пошутил лодочник. Он греб медлительно, не напрягаясь, жалуясь на все сразу: на

белых и красных, на погоду, на то, что рыба заелась и один леший знает, какую насадку ей надо... А работы нет. Ни в порту, ни в городе.

— На «Генерале Скобелеве», слыхал от соседа-боцмана, палуба проросла бурьяном. А на «Гетмане»,— сам видал,— на рубке ласточки гнезда слепили. Еще не хватало на мачтах черногузам селиться... Дожили до мировой коммуны, мать ее в парусину...

В другое время Мария вступила бы в спор, постаралась бы разубедить старика, поведала бы о радостном близком будущем, во имя которого подняли большевики народ на борьбу. Но мерный плеск воды под яликом убаюкивал. Да и что сказать старику? За эти годы люди наслушались всяких слов по горло. И все слова — и великие, и ничтожные — стоили крови. Потому-то изверились многие в них. Людям нужны не слова, а работа, хлеб, одежда. Соль, керосин, спички... Светлое будущее для многих терялось в мечтательной бесконечности, далекой и смутной, как потусторонняя райская жизнь. А вера в него должна быть потверже, чем стариковская. Чтобы выстоять, чтоб победить.

Чем ободрить старика? Признанием, что муки на складах лишь на несколько дней? Что скоро придется в плавнях косить камыш на топливо, иначе город зимой замерзнет? Трудные времена настают — для страны, для народа, для партии. На войне было ясно, что делать: бить врага. И враг был ясен и зрим. А теперь? Тысячи задач, великих и малых, требуют немедленного решения. В каждом городе, в каждой деревне, и даже здесь, на речушке, заросшей лататьем... Во время войны они, большевики, за светлые идеи боролись, отстаивали их, утверждали в боях. Для этого нужна была вера. Теперь же час наступил эти идеи воплощать в жизнь. И, кроме веры, нужны сейчас знания, умение, опыт. Конкретные, мозолистые, потные. Воплощать не лозунгами, не в мировом масштабе, как привыкли на митингах и летучках агитпропа, а самыми будничными делами, на каждой улице, в каждом доме. Начинать почти не с чего: всюду разруха и запустение. А время не ждет, ибо ждут люди — работы, хлеба, счастливых дней. Какие же мудрость, адское терпение, мужество требуются от партии, от каждого члена, чтобы оправдать надежды миллионов рабочих и крестьян! Чтобы

революцию не задушил голод! Чтобы они, большевики, не выглядели пустозвонами и вера народа в них осталась незыблемой, как в семнадцатом, как в годы гражданской войны! Господи, голова идет кругом... Теперь она понимает ленинскую мысль о том, что завоевать в революции власть — только часть дела. Революция — это строительство нового общества, нового государства. А как их строить, если во всем Херсоне не сыщешь килограмма гвоздей?

Невольно думала и о себе: сумеет ли стать настоящим бойцом в новых условиях? Ведь не может вот по-человечески, убедительно возразить даже старику лодочнику. Не может, потому что не знает, что и как делать. . Нет, далеко ей еще до кухарки, о которой говорил Ленин.

Все же сказала:

— Добьем Врангеля — заживем по-новому. В достатке.

Старик усмехнулся краешком рта, от чего усы его вздрогнули, с издевкой протянул:

— Красивые слова твои, барышня, их бы на хлеб намазать да скушать — вкусно было бы. Дак хлеба нету.— И, видя, что его насмешка огорчила женщину, внезапно смягчился, грустно добавил: — Дай-то бог...

«Аскольд» стоял у кромки земли — в пятнах ржавчины, давно не крашенный. Швартовые тросы, что тянулись от судна к деревянным палам на берегу, терялись в бурьяне. Да и сами палы, за которые тросы были заведены, успели прорасти, пустили ветви. Чуть поодаль торчала неказистая будчонка без крыши, из обрезков досок и кусков проржавевшей жести. Мария не сразу догадалась, что это уборная. А догадавшись, ужаснулась: видать, пароход присосался к берегу прочно. Как же через неделю вывести судно в море?

— Эй, на «Аскольде!» — окликнул старик, на миг перестав грести. Голос его повторило эхо в одичавших закутках судоремонтного. Но судно казалось вымершим. Медные поручни трапов, давно не чищенные, покрылись темно-зеленой коростой окиси. На аварийном штурвале, который незачехленный торчал на корме, повисла белая паутина. Лодочник осуждающе покачал головой и несколькими сильными гребками подогнал ялик к берегу.

— Вы, собственно, к кому? — раздалось в стороне, и старик от неожиданности чертыхнулся. В полусотне шагов от них сидел мужчина с удочкой в руке. На нем была потертая флотская тужурка с потемневшими якорями на уголках воротника; на тужурке не хватало форменных пуговиц и вместо них кое-где были пришиты обычные, до смешного крупные, должно быть, от пальто.

— А вы с парохода? — обрадовался старик: безмолвие и неподвижность вокруг, видимо, угнетали его.— Барышню вот привез на «Аскольд». К капитану.

— Сейчас провожу,— поднялся мужчина.— Рыба все равно уже не клюет. Наверное, митингует: против ига щук и сомов.

Искоса поглядывая на Марию, он смотал снасть и вынул из воды кукан, на котором трепыхалось десятка два рыбешек. Подойдя затем к лодке, приподнял кукан, демонстрируя перед лодочником и женщиной.

— Обед для экипажа «Аскольда»,— промолвил с едкой и в то же время с наигранно печальной иронией. — Добываем пищу в поте лица своего, ако Робинзоны. Простите, не могу вам помочь выйти из шлюпки, — слегка поклонился Марии, — ибо руки мои в чешуе рыбы, именуемой красноперкой. Заметьте, красно-перкой — не белой!..

Вдоль берега тянулась тропинка, едва приметная меж бурьяна. Мужчина шел позади Марии, время от времени предупреждая ее о рытвинах и обрывках тросов.

— Вы добрая фея или злая? — пытался он завязать разговор.

— Это зависит от того, что вы считаете добром, а что — злом. Скажите, «Аскольд» не прирос еще килем к грунту?

— Все может быть,— рассмеялся мужчина.— Сейчас вся Россия не движется никуда.

— У вас обширные сведения о России! — насмешливо ответила Мария.— Вы, очевидно, корабельный священник?

— Почему именно священник? — даже растерялся мужчина.

— Обычно священники, у которых нет прихода, пытаются философствовать.

— Нет, я не священник,— сказал мужчина уже без прежней нарочитой веселости.— И вообще, представьте, неверующий. Я штурман.

— Штурман? — изумилась Мария. Обернулась, с любопытством стала разглядывать спутника.

— Чему вы улыбаетесь? — смутился он.

— Когда я училась в гимназии, мы переписывали в альбомы жестокие трогательные романсы. Помню романс о штурмане Джоне, который, погибая в волнах, шепчет имя невесты... Нет, как хотите, но у меня совсем иное представление о штурманах.

— Гимназические представления о жизни примитивны,— улыбнулся и штурман.— Согласны? Тогда мы квиты.

Он первым поднялся по штормтрапу на палубу парохода. Перегнувшись через борт, протянул руку Марии. Их шаги гулко отдавались где-то внизу, в пустых трюмах. Кисло пахло холодным железом. Деревянный настил палубы — грязный, давно не мытый — потемнел и набух от недавних дождей, на нем отчетливо виделись следы сапог с комками земли, занесенной с берега.

— Чернозем,— произнесла Мария со вздохом.— Удивляюсь, как вы не догадались на палубе развести огород...

— Палубу можно выдраить,— отозвался штурман.— А вот как вычистить людские души! В них ведь за эти годы тоже наследили изрядно.

— Нет, вы действительно не священник? — снова улыбнулась Мария. Мужчина, который, видимо, хотел сказать еще что-то, лишь мрачно махнул рукой. Он провел Марию в конец коридора, постучался в дверь каюты:

— Савелий Иванович, к вам дама!

Капитан, должно быть, меньше всего ожидал подобного визита. В шлепанцах, в телогрейке, наброшенной на плечи поверх кителя, он удивленно смотрел на женщину.

— Я пойду на камбуз,— нарушил неловкую паузу штурман,— готовить фирменную похлебку «двадцатый век». Прошу не опаздывать к столу.

И скрылся в полутемном коридоре. Лишь после этого капитан спохватился, пригласил Марию в каюту, пододвинул кресло.

— Чем обязан? — поинтересовался он немного напыщенно, стараясь, видимо, скрыть растерянность. Его тон, старомодный и светский, никак не увязывался с телогрейкой и шлепанцами. Мария вместо ответа протянула мандат.

Капитан читал долго, внимательно, шевеля седеющими бровями... Маленькая с зашторенным иллюминатором каюта напоминала келью. Может быть, потому, что в углу тускло поблескивала икона Николы с незажженной, привинченной наглухо на случай качки лампадой. А ниже лампады висело несколько вяленых рыбцов.

Капитан наконец дочитал мандат. Лицо его выражало недоумение и обиду, словно его, человека в преклонных годах, старого моряка, втягивали в пустячную забаву.

— В этой бумажке сказано, уважаемая...— медленно процедил капитан и снова заглянул в мандат, чтобы вспомнить имя и отчество посетительницы. Но женщина подсказала сама:

— Зовите меня товарищ Мария.

— Так вот, уважаемая товарищ Мария... Здесь сказано, что я обязан выполнять ваши указания. Согласно Уставу приказывать капитану на корабле может лишь адмирал. Выходит...

— Ну зачем же так громко,— улыбнулась Мария.— Считайте, что уисполком фрахтует «Аскольд», и я... представитель фирмы, что ли... Это устраивает вас?

— Но представители фирмы не вмешиваются в дела экипажа. И в море, и в порту за судно отвечает капитан.

— А вы и будете отвечать,— сказала Мария внезапно жестко. Повисла неловкая пауза. Капитан сидел неподвижно, хмуро уставясь глазами в пол. И Марии стало жаль его. «Наверное, думает с тоскою о том, что раньше ему угрожали белые, а ныне — свои. Все эти годы он голодал и мерз в проклятой железной коробке, чтоб сохранить ее для страны. Мог бы плюнуть на все, сбежать, заняться каким-нибудь делом. Не сбежал, оставаясь верным моряцкому долгу. А теперь приходит девчонка...» Смягчившись, Мария тихо произнесла:

— Вы, конечно, вправе отказаться от должности...

Капитан, подняв голову, с упреком взглянул на нее:

— Я двенадцать лет командую «Аскольдом».

— Кто же лучше вас в таком случае, милый Савелий Иванович, справится с делом? — с горячей дружеской убежденностью вымолвила она.— Я пришла помогать вам, а не мешать.

— Не знаю, — снова опустил голову моряк. — Не верю, что за неделю мы подготовимся к выходу в море.

В голосе его не трудно было уловить и искренние сомнения, и невольную неловкость за них — неловкость, которую он не сумел скрыть. Ведь сам же мечтал о плаваниях, бредил ими в студеные долгие ночи, когда не мог уснуть в промерзшей насквозь каюте. А теперь, когда настал долгожданный день...

— У нас, к сожалению, нет времени для споров,— говорила меж тем Мария.— Но я убеждена: за эту неделю у вас появится вера — в себя и в людей.

Капитан молчал, о чем-то раздумывая. И женщина, поняв, что сейчас они все равно не придут к единому мнению, что все, должно быть, уладится позже, когда начнутся заботы, тревоги, спешка, поднялась, попросила:

— Отведите, пожалуйста, мне каюту: я тоже буду жить на «Аскольде».

3

Условились, что команду будет комплектовать капитан. Вместе с Марией, конечно. Машинисту Яремчуку поручили обследовать все суда и цехи судоремонтного, чтобы выяснить, есть ли там уголь. С этого часа начиналась новая жизнь «Аскольда».

Мария попросила штурмана сопровождать ее в город, в уисполком. Полушутя обмолвилась:

— На пароходе ведь есть лодка? Все мои запасы спичек исчерпаны.

На этот раз штурман явился в новой тужурке, в фуражке с якорем на околышке, чисто выбрит. Легко и ловко спрыгнул в шлюпку, помог спуститься Марии. Греб он сноровисто, сильно, видимо желая выказать перед женщиной моряцкое, мужское умение. И Мария

невольно залюбовалась им: ей нравилась хватка, с которой штурман орудовал веслами, нравилось и желание мужчины блеснуть перед нею своей профессиональной выучкой. «Как лейтенант Шмидт»,— подумала она, вспомнив, как преклонялись пред этим именем старшеклассницы-гимназистки. В представлении девушек Шмидт и был именно таким, подтянутым моряком.

Но штурман сам разрушил внезапный образ, возникший в воображении Марии. Где-то на середине реки, окинув взглядом порт с мертвыми причалами и судами, он с горькой иронией произнес:

— Мы наш, мы новый мир построим... Построили!

— Сколько вам лет? — сузила глаза женщина. Он удивленно взглянул на нее, однако, не изменяя тона, притворно грустно вздохнул:

— Скоро — тридцать... А что?

— Я давно не встречала таких усталых людей.

Она сказала это твердо и зло, стараясь обидеть его, оскорбить, чтобы хоть чем-то отплатить моряку за то, что нарушил ее воспоминания и задумчивость, вернул преждевременно к суровой действительности.

Некоторое время штурман греб молча. Потом, уже без прежней наигранности, серьезно и потому нерадостно признался:

— Не знаю, к чему стремились в юности вы. Но мои дороги — все перепутались.

— Понимаю, — насмешливо посочувствовала Мария.— Вы мечтали о дальних плаваниях, об экзотических берегах и смуглых женщинах. «Шумит ночной Марсель в таверне «Трех бродяг» — так, кажется, выглядит морская романтика?.. Но вмешалась революция, костлявая и худая, и лазурное небо тропиков превратилось в бурду из мерзлой картохи. И вшивые тифозные города. Ах, эта противная революция, разбившая юные грезы о голубой пасторали морей!

— Вы не угадали, — сказал штурман мрачно. — Я окончил Ростовскую мореходку, ту самую, в которой учился когда-то Седов. И мы поклялись довершить его дело: пробиться через Полярный бассейн и водрузить на полюсе русский флаг Разве это не достойно мечты?

— Насколько мне известно, экспедиция Седова была снаряжена отвратительно. На нем нажились спекулянты, его обманули, заранее обрекли на гибель. Так

не вернее ли и путь к полюсу начинать с уничтожения прогнившего мира, погубившего Седова?

— Возможно, вы и правы,— неуверенно согласился штурман.— Но путь этот слишком долог. А годы, к сожалению, идут...

— В том, что путь оказался долгим,— не наша вина,— возразила Мария.— Вспомните, сколько интервентов перебывало на нашей земле. Без их поддержки контрреволюция давно бы издохла. А война, как видите, продолжается и сейчас, через три года после установления Советской власти.— Она помолчала, потом уже спокойней добавила: — А годы — что ж годы, их жалко, если прожил впустую. Главное — поверить, что революция не отдаляет от мечты, а приближает к ней.

— Странно,— усмехнулся внезапно штурман.— Милая, красивая женщина посреди реки объясняет мне, моряку-бродяге, сущность социализма...

— Спасибо за милую и красивую. Только объяснять вам сущность, пожалуй, еще рановато.

Херсон и днем казался немноголюдным. Недавние дожди натащили с нагорной части города размытой земли, земля покрыла булыжную мостовую, и потому Воронцовская, ведущая к центру из порта, напоминала глухой, захолустный проселок. Боковые улицы, что ответвлялись от нее вдоль порта, за лето позарастали бурьяном и чудились пустырями. Узкие стежки сиротливо жались к заборам.

Бурьян прорастал повсюду: у складов и между шпал портовой железнодорожной ветки, в раскрытых настежь товарных вагонах, даже на крышах пакгаузов. У переезда, где ветка пересекала начало улицы, торчали будка обходчика без двери и стекол и полосатый столбик: остатки шлагбаума.

Лишь когда Воронцовская взбиралась на гору, город чуть-чуть оживал. Чаще встречались прохожие, очереди у лавок, молчаливые обыватели у афишных тумб, заклеенных сверху донизу постановлениями уисполкома, Чека, Продкомиссии... Изредка проезжали даже извозчики. Да и сама улица вдруг становилась красивой, истинно городской. Густые кроны акаций и кленов, что дотлевали в осенней сырости последней листвой, придавали ей вид тихой провинциальной задумчивости.

И Мария с грустью подумала о том, что и люди, и улицы, и дома истосковались по мирной жизни, по светлым распахнутым окнам, по шумным, взбудораженным толпам гуляющих. Люди соскучились по учебе, по праздникам, по уверенности в завтрашнем дне, когда можно спокойно трудиться, любить, отдыхать. Городу, как и стране, не хватало ребячьего гама, влюбленных, беременных женщин, просветленных радостным ожиданием. Улыбки стали такими же редкими, как хлеб в булочных. Осень пугала близкими холодами и голодом... Это страшно, когда мысли миллионов людей поглощены лишь заботами о куске хлеба. Тогда не остается времени для мыслей других, и целые города погружаются в летаргический сон.

Ее нерадостные раздумья прервал неожиданно штурман. Видимо, город, который был для него «берегом»,— сошел с корабля на берег,— настроил моряка на лирический лад.

— Смотрю на вас,—промолвил негромко он,—и все стараюсь представить: в кого вы могли бы влюбиться? В Спартака? В Овода? В Гарибальди?

— В пророка Елисея,— ответила женщина нерадостно.— Он мог двадцатью хлебцами накормить сто человек, как говорится в библии... Нам бы таких начпродов!

Он догадался, что думы спутницы в эти минуты — совсем об ином. И примолк...

Добронравова они встретили еще в коридоре уисполкома.

— Ко мне?— спросил тот, на ходу пожимая руки Марии и штурману.— Заходите.

На небритых щеках его проступала бледность. Резкие складки пересекали лоб: видать, хмуриться приходилось чаще, чем улыбаться. В глазах то и дело появлялся нездоровый блеск, как у людей, страдающих недугом или смертельно уставших. Едва усевшись, председатель пальцами, желтыми от табака, начал сворачивать самокрутку.

— Много куришь,— мягко упрекнула Мария.— Вид у тебя — хоронят краше! Отдохнул бы...

— Да нет, не то,— отмахнулся в сердцах Добронравов.— Ночью на Забалке чекисты выловили банду. Несколько уголовников, во главе офицер... А среди них —

сопляк-гимназер. Утром прибежала сюда мать, седенькая такая, упала передо мной на колени. .— Он умолк на какое-то время, потирая устало лоб, словно снова переживал встречу с матерью гимназиста.— Ну, с теми, с бандитами, ясно. А что с юнцом делать? Голова идет кругом...— Председатель закурил и, выпустив облако едкого махорочного дыма, задумчиво, точно советуясь, произнес: — Что-то недодумываем, упускаем. Заботимся о крестьянах, о рабочих, а про интеллигенцию забываем. А нам вместе жить и вместе новое общество строить...

— Зачем же сразу винить себя! — не согласилась Мария.

— А кого ж мне винить, господа бога? — усмехнулся председатель уисполкома.— Он свое дело сделал: оставил плодиться семь пар чистых и семь пар нечистых. А нам теперь этих нечистых выкорчевывать надо! Гимназисту самое время биномы учить, а не ночами с наганом шляться,— снова вернулся он к мысли, которая, видимо, не давала покоя.— Знаете, скольно нам башковитых людей потребуется? Вот недавно сидели мы здесь, на исполкоме, положение дел обсуждали. Положение, сами понимаете,— не сахар. Топлива нет, продовольствия тоже. Повесили носы мои комиссары. И вдруг поднялся председатель Чека, мечтатель он у нас. «Хотите, говорит, расскажу, каким будет Херсон через тридцать лет?» «Валяй»,— отмахнулись... А начал он говорить — и глаза у всех разгорелись! Порт, в который приходят суда из далеких стран. Судостроительные верфи: корабли, построенные в Херсоне, плавают по всем океанам. Хлебные элеваторы, консервные фабрики, что прославят херсонские баклажаны и абрикосы. Проспекты, многоэтажные школы, электрические автобусы — куда там Константинополю до Херсона!

Добронравов осекся почти на полуслове, точно новая мысль или догадка изумила его. Даже беседуя с Марией и штурманом, он продолжал раздумывать о своем. И действительно, уже интимнее не то спросил, не то поразмыслил вслух:

— А что, если собрать молодежь и поведать им эту мечту? Не засмеют? — обратился доверчиво к штурману. Штурман, не ожидавший вопроса, смутился, неопределенно пожал плечом. — Вот я и думаю, не

засмеют, — увереннее заключил председатель.— Молодежь всегда кипит, как котел. И надо позаботиться, чтобы кипение не уводило в банды, а оборачивалось на пользу народу. Верно?

Зазвонил телефон. Добронравов сосредоточенно, хмуря брови, кого-то выслушал и закончил разговор коротким, немногословным приказом:

— Мобилизуйте немедленно всех дровосеков. Предупредите, что они поступают в распоряжение райлескома как боевая единица.

Зашел секретарь — подтянутый, в офицерском френче, с кипой бумаг. Покосившись на Марию и штурмана, стал докладывать о текущих делах.

За месяц предстояло провести в городе три целевых недели: неделю помощи фронту, неделю помощи ребенку, неделю заботы о глухонемых детях... Все эти дела, конечно, требовали постоянного внимания, да ими и занимались здесь, видимо, регулярно. Но подобные недели способствовали мобилизованности людей, выделяли из потока будничных забот отдельные, придавая им первостепенное значение.

На 24 октября намечался в городе первый коммунистический воскресник. Предполагалось, что в нем примут участие тысяча триста человек с шестнадцатью подводами и одним грузовым автомобилем.

— Вот разнарядка на работы и проект листовки,— протянул секретарь бумаги.

Добронравов, мрачнея, разглядывал их. Потом неожиданно с горечью поделился с Марией и штурманом нерадостными мыслями.

— Разнарядка красноречива, как латки на дырявых штанах. На разборку тряпья за городом — двести пятьдесят человек. А на выгрузку дров в порту — сорок, на выгрузку картофеля — сорок пять, на ее переборку — восемьдесят. Так-то... На колбасную фабрику Файнштейна — всего девятнадцать человек. Да и то, наверное, для вывозки мусора.

— Боюсь, что тем, кто пойдет на картошку, работы станет часа на четыре, не больше,— вставил секретарь.

Дверь часто приоткрывалась, кто-то нетерпеливо заглядывал в комнату. И Добронравов, когда ушел секретарь, все еще находясь под впечатлением скудной сводки воскресника, спросил:

— Как дела на «Аскольде»?

— Порядок,— ответила Мария.— Моряки обещают подготовиться к рейсу в срок.

— Что ж, моряки — народ точный,— отметил Добронравов.— Ко мне — с челобитной?

— Догадался... Набираем экипаж, а кормить его нечем.

— Ну, об этом догадаться не трудно... Для выдачи продовольствия власти моей не хватает: нужно решение исполкома. Да уж возьму грех на душу: мешок пшена.— Взглянул на Марию: довольна ли? Должно быть, заметил что-то в ее лице, потому что тут же добавил: — Ладно, и бутыль постного масла — грешить так грешить! Все?

— На «Аскольде» служат мужчины,— промолвила женщина.— Жалуются, что курят, прости, кизяк.

— Кизяк — это плохо,— улыбнулся наконец Добронравов,— листья подсолнуха лучше. А вообще, надо бросать курить: вредно. Сам бы бросил, так времени нет.

Но махорку выписал.

Мария, а вслед за нею и штурман поднялись. А председатель, протягивая бумажку, посоветовал:

— Разыщи Сулименко, поможет. Он теперь главный над всеми херсонскими биндюжниками: коммунхоз. Ну, счастливо...

Позже, когда они вместе с Сулименко тащились на тряском шарабане к складу, штурман как бы мимоходом сказал:

— Трудная должность у председателя уисполкома...

— У революции легких должностей не бывает,— ответила Мария.

На обратном пути она попросила завернуть к дому, в котором жила. В комнате наскоро собрала саквояж, решив обосноваться на пароходе более прочно. Подумала и сняла со стены коврик: хотелось, чтобы ее каюта на «Аскольде» хоть чем-то отличалась от мужских.

До порта доехали быстро. Казалось, не лошаденка хватко тащила широкий, как баржа, шарабан, а тот подталкивал тощее животное. И лошадь, не в силах остановиться, перейти на шаг, невольно бежала с горы, нехотя ставя в плотную пыль растоптанные, неподкованные копыта.

Штурман греб теперь торопливо, рывками. Когда подплыли к «Аскольду», окликнул капитана. Однако палуба парохода по-прежнему была пустынной. Тогда моряк вынул весло из уключины и несколько раз ударил рукояткою в борт. Гулкое эхо прокатилось по трюмам. И тотчас же над фальшбортом появились испуганные лица Савелия Ивановича и машиниста Яремчука.

— Заводите тали! — крикнул им весело штурман.— Будем разгружать продовольствие!

4

Обедали в этот день торжественно, празднично. По случаю царственного меню: пшенного супа и жаренной на постном масле рыбы — тех самых красноперок, которых утром наловил штурман, достали из кладовой корабельный сервиз. Сверкали ножи и вилки, белели тарелки с синими бригантинами на донце и словом «Аскольд» славянской вязью по ободку. На краю стола исходил ароматным паром бело-синий супник, и Мария, словно гостеприимная хозяйка, разливала варево. Наверное, давно кают-компания парохода не видела таких смягчившихся лиц.

— Никогда не думал, что грозный уисполком может прислать на судно добрую фею,— разглагольствовал штурман.— В честь такого события обязуюсь добровольно, вне очереди, вымыть посуду. Вы разрешите курить? — обратился он к Марии.

— Старший в кают-компании — капитан. Не будем нарушать святые традиции,— улыбнулась женщина.

— Да, сегодня я убедился, что в исполкоме работают мудрые люди,— продолжал штурман.— И, знаете, поверил, что мы выйдем в плавание, что это серьезно: под авантюры махорку и постное масло не выдают.

— Вам вредно сытно обедать,— пошутила Мария,— вы становитесь говорливы.

— Каждый выражает восторг, как может,— отпарировал в тон ей моряк.— Одни слагают оды и гимны, другие служат благодарственные молебны, третьи напиваются до индекса, при котором передвигаются на бровях... А я хочу выговориться — за несколько лет молчания. Кстати, куда мы пойдем? Как штурман, я должен заранее подобрать и откорректировать карты,

сделать предварительную прокладку пути. Чтобы в море затем было все в ажуре.

Хотя и капитан, и машинист, видела Мария, не одобряют многословия штурмана, сейчас и они замерли, напряглись, ожидая ответа. Но что имела право она поведать без разрешения уисполкома!

— Не знаю,— пожала плечом.— Очевидно, об этом нам скажут, когда «Аскольд» подготовим к рейсу.

Повисла неловкая пауза, которую снова нарушил штурман:

— Может быть, в Петроград, за золотом царской семьи? А под каким флагом? Под красным нас не пропустят через Босфор. И перехватят французские миноносцы.

— Миноносцев бояться — в море не ходить,— перефразировала Мария пословицу.— А флаг... Между прочим, почему «Аскольд» стоит без флага? Корабль ведь не беспризорный.

Капитан замялся, что-то пробормотал о том, что сейчас это никому не нужно, ибо судно стоит на приколе... Но если надо, с завтрашнего утра...

Несмотря на открытый иллюминатор, в кают-компании плавал слоисто-сизый махорочный дым. Вентиляция не работала, и дым сбивался у подволока, плотнея, затемняя и без того полутемное помещение. Мария отодвинулась поближе к иллюминатору и внезапно увидела у переборки покрытое пылью пианино. Подошла к нему, приподняла крышку. Торопливо пробежала пальцами по клавишам. Инструмент, словно еще не очнувшись от глубокого многолетнего сна, как-то робко, приглушенно выплеснул звуки. Это была не мелодия, лишь музыкальный лепет, полусонный и неуверенный. Но он возник в тишине полумертвого корабля как чудо. Моряки повернулись к женщине, застыли в ожидании и молчаливой просьбе. И тогда Мария присела. Какое-то время сидела неподвижно, точно раздумывая: играть или не играть? Потом опустила руки на клавиши.

Мелодия пришла из времени далекого и почти забытого. Казалось, она не знала ни тифа и голода, ни окопной грязи, ибо пересидела, переждала эти годы, затаившись в запыленном судовом пианино. Но час для нее все равно еще не настал, и потому, вырвавшись преждевременно из забытья, мелодия металась меж перебо-

рок, отдаваясь в пустых отсеках и трюмах, звучала странно и неестественно. Не обретая себя в настоящем, не вписываясь в него, она невольно возвращала людей к прошлому. К солнечным дням, к оживленной портовой суете, к пестрой мозаике корабельных флагов... Снуют буксиры, возбужденно вскрикивая, разворачивают к Днепровскому гирлу низко осевшие сухогрузы. Хлопотливо шлепают плицами по воде речные пароходики, приходящие из окрестных местечек. Гремят шарабаны на выщербленных мостовых, свистят писклявыми дискантами маневровые паровозы-кукушки, а у Зеленого базара, среди навала рыбы, помидоров и баклажан, всегда подвыпившие шаландеры кричат на разные голоса весело и озорно: «Кому на Алешки, Алешки!» «На Голую Пристань!» «На Солонцы!» «Давай на Казачьи Лагери, бо передумаю!..» И над всем этим — южное небо, сухое и жаркое, плотный запах пеньки, рогож и соленой рыбы, неумолкаемый гомон и ругань грузчиков, бегущих цепочкой по тонким сходням. Днепр теряется в мареве за Киндийкой, он уходит туда от моря в глубь Украины: к Александровску, Екатеринославу, Киеву. Где-то там, за Киндийкой, лежит и Лепетиха — родное местечко машиниста Яремчука. И хоть ему, сыну кузнеца, не часто доводилось услышать пианино,— больше привык к гармошкам,— сейчас и его пленила мелодия, увела в думы и воспоминания.

В штурмане оживала былая мечта о полярных плаваниях, о русском флаге на полюсе, о славе землепроходцев.

Савелий Иванович вспоминал молодость, когда плавал шкипером на парусной шхуне. Ходил в Констанцу, Варну, Бургас, в Константинополь и даже в Александрию. Был он в те годы статен, красив, любил шелест ветра не только в мачтах да парусах, но и в листве сонных улочек Балаклавы и Ялты — вместе с шепотом красавиц гречанок. Берег, берег... Бывало, соберутся моряки в подвальчике-кабачке, где все пропитано запахом чебуреков и кислого вина, чтобы душу отогреть хоть немного. Перед тем болтались неделями в море, теснились в темных промозглых кубриках, кормились галетами да солониной. После такого житья только сквалыга считает деньги на берегу! Захмелев, поведывали истории, одну страшнее другой, а дядьки-шкиперы, которые

и в картах-то не разбирались, водили суда «по нюху и шороху», хвастались, какие знаменитые компасы у них на дубках: «В Одессу иду — тримунтан [1] показывает, в Анапу — опять же на тримунтан... Зверь, а не машина!» Берег... Который уж год суда на приколе. Осточертел тот берег хуже гробовой доски.

Гнала мелодия в прошлое. Конечно, и у машиниста Яремчука, и у Савелия Ивановича, и у штурмана было в минувшем немало горького, несправедливого, обидного. Но так уж устроен человек: плохое забывается быстрее, а доброе память хранит и вернее, и дольше. К тому же настоящее было безрадостным, думы о нем уже перетерлись, как солома в старых матрасах. А будущее, о котором говорили большевики, виделось отдаленно и смутно: уж очень трудно представить цветущую жизнь на этой тифозной, изголодавшейся, опустошенной войною земле. И потому думам, разбуженным звуками пианино, некуда было метнуться, кроме как в прошлое.

Лишь Мария не думала ни о чем. Ее поглотила музыка, и она, отдаваясь игре целиком, только едва уловимо морщилась, если неверно или слишком прямолинейно брала ноту. Когда она наконец окончила и откинулась на спинку стула, еще какое-то время чудилось, будто мелодия не покинула судно, а продолжает звучать в переборках и в палубах, в трюмах, в надстройках. «Аскольд» тосковал и печалился вместе с людьми.

Разошлись из кают-компании молча... У себя Мария прилегла на койку. Стояла глубокая, до звона в ушах, тишина. От переборок тянуло пронзительным холодом. Ранние сумерки, густые, как дым, серели за иллюминатором. Иллюминатор был маленький, мутный. «Как тюремный глазок»,— подумалось женщине. Только теперь она поняла, что такое мертвый корабль. В городе — пусть голодном, пусть темном и запущенном — все-таки бьется жизнь. На улицах, в учреждениях, за ставнями окон. А здесь... Кошевая, что отделяет «Аскольд» от набережной, лежит границею двух миров. За «Аскольдом» — глухие бурьяны, вымершие цеха судоремонтного да одичавший ветер — над плавнями, над

---

[1] Искаженное итальянское наименование северного румба (трамонтана), распространенное среди рыбаков Черноморья.

песчаными голыми косами, над взморьем, безлюдным, туманистым, с ослепшими глазницами маяков.

Трое моряков на «Аскольде» отгорожены друг от друга стальными листами, каждый в каюте-склепе, наедине со своими думами. А думы — одни и те же, новые давно не приходят .. Не трудно и свихнуться. Пойти за первым, кто позовет, обнадежит: за красным, за белым, за черным. Многие ведь — вроде штурмана — видят лишь разрушающее начало революции, не понимая ее созидающей силы. И потому не способны продуманно выбрать путь, слепо подчиняются обстоятельствам. Прав председатель уисполкома: об интеллигенции надо думать, ибо с нею строить новую жизнь. Не позволять отсиживаться и костенеть за ставнями и заборами, да в таких вот закутках, как «Аскольд». Увлекать делами, замыслами! Учить — пусть с азов — науке революции.

Тишина давила. Мария поднялась и вышла на палубу... Темнело. Херсон погружался в сумерки, в ночь, как в туман: молчаливо, с робкими, едва мерцающими пятнами окон. Над плавнями, за Перебойнею и затонами, просачивались звезды. Они были такие же тусклые, как огни города. Ночь опускалась не густая, не черная, как бывает на юге, а какая-то серая, вялая и расплывчатая, словно собранная из остатков такого же серого дня.

День не сменялся ночью, а превращался в нее. И, может быть, потому чувства оставались прежними: здесь, на палубе, было так же тоскливо и одиноко, как и в каюте.

Женщина услышала шаги позади, обернулась: медленно и задумчиво подошел штурман. Огонек его самокрутки то замирал, то снова вспыхивал, потрескивая махоркой нервно и торопливо.

— Не спится? — посочувствовала она. В эту минуту Мария была рада хоть какому-нибудь разговору: только бы не это безмолвие, обволакивающее и землю, и душу.

— Отоспался на четырнадцать лет вперед,— ответил моряк. И неожиданно, вне всякой связи с предыдущим, продекламировал: — И снова ночь спустилась на Херсон глухою азиатскою чадрою...

— Вы пишете стихи? — удивилась женщина.

— Не пишу, а только придумываю. Но дальше двух строчек не получается. А две строки могут придумать, наверное, даже лошади... Когда стоят, понурив головы, с тоскою вспоминая об овсе.

Мария усмехнулась:

— Вы могли бы издать сборник философских двустиший. Такого еще не было.

— Все было, милая товарищ Мария, все было... Вы знаете, сколько людей отжило до нас на земле? Семьдесят семь миллиардов!

— Семьдесят семь? — изумленно, не веря, почти с испугом переспросила она.

— Впечатляет? Уместить это в голове так же трудно, как представить бесконечность вселенной. Семьдесят семь миллиардов — со своими надеждами, страстями, раздумьями. И ничего не осталось. Ни памяти, ни даже печали.

— Это страшно...

— Да, страшно,— согласился штурман.— Но еще страшнее, что все приходится начинать сначала, с того же: с пищи, с одежды, с пещеры... Еще один круг замкнулся на нашей земле. Все было, все уже было... Помните, как у Волошина?

Заклепаны клокочущие пасти.
В остывших недрах мрак и тишина.
Но спазмами и судорогой страсти
Здесь вся земля от века сведена.
И та же страсть, и тот же мрачный гений
В борьбе племен и смене поколений.

Мария молчала, все еще осмысливая сказанное штурманом.

А он, уже тише, словно остыв или успокоившись, по-прежнему вспоминал строфы, но теперь не увлекаясь, угрюмо, словно читал не стихи, а констатировал горькие факты.

Доселе грезят берега мои:
Смоленые ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.

В осенней ночи, серой и тусклой, где небо, казалось, легло на землю и воду, на плавни, на крыши окаменев-

шего города, тем самым соединив и будущее, и минувшее, стихи звучали как мрачное откровение, как отречение, от веры или каторжный приговор.

...Пойми простой урок моей земли:
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет все — Европа и Россия.
Гражданских смут горючая стихия
Развеется...

В развалинах судоремонтного и в бурьянах, подступающих к самому берегу, время от времени шуршал сухой, обескровленный ветер. Ему жалобно отвечали, тонко поскуливая, мачты «Аскольда». Купы верб за Днепром чернели, точно могильники. И блеклые округлые звезды, похожие на следы некованных конских копыт, тянулись через пустынное таврийское небо.

Мария не думала о стихах, но сама их напевность невольно западала в сердце. Как недавняя музыка в кают-компании. Западала и бездумно воскрешала в нем что-то давно позабытое, оставшееся в далеком гимназическом прошлом. В какой-то миг почувствовала, как хочется ей вдруг очутиться в родном городке на Черниговщине, в знакомом домике с палисадником у крыльца; уткнуться лицом в теплое плечо мамы — и заплакать. «Семьдесят семь миллиардов — и ничего не осталось. Ну, черепки в музеях, истлевшие ткани... А люди? В памяти — лишь сотня-другая имен, а за тремя-четырьмя столетиями — сплошная мгла. Значит, и от нее, Марии, ничего не останется?»

Вцепилась руками в планшир борта. «Плохой ты большевик, товарищ Мария. Раскисла. А выдержка нужна не только в боях и порывах, но и на мертвых кораблях».

В окраинных улочках порта, уже уснувших, погрузившихся в темень, раздалось несколько выстрелов. И эти выстрелы словно стряхнули с нее оцепенение. Злясь на себя за минутную слабость, сказала грубо, почти враждебно:

— Я видела, как деникинцы расстреливали крестьян лишь за то, что те, голодая, забрали хлеб помещика, сбежавшего за границу. Но и эти крестьяне, и люди прошлых веков не ушли из жизни бесследно: они завещали нам свою ярость и веру в справедливость. И если бы семьдесят семь миллиардов воскресли из пра-

ха, большинство из них стало бы под наши знамена. Мы их совесть, их возмездие и оправдавшаяся надежда. Может быть, вы и правы, утверждая, что круг замкнулся, но отныне история пойдет по иному пути, прямому...

Выпалила и умолкла, все еще продолжая злиться. «Говорю выспренно,— подумала с досадой,— как на митинге...»

Штурман стоял неподвижно, задумчиво глядя в сторону города, который окончательно слился с ночью. Было в его облике что-то виноватое, загнанное, и Мария пожалела о своей резкости. «В конце концов, разве его вина, что она сама раскисла? Разве сама она не разбередила музыкой души моряков? А на «Аскольде» в такое время жить удобней, наверное, с душой огрубевшей. Иначе завоешь волком...»

— Вы не сердитесь,— попросила она примирительно. И так же негромко штурман, не оборачиваясь, ответил:

— Я не сержусь... Я попросту завидую вам. Вашей вере.

5

Утром в кают-компании Савелий Иванович заявил, что боцманом на «Аскольд» берет Семена Гаркушу, из Голой Пристани.

— Первейший боцман на всем побережье,— с улыбкой добавил он.

При упоминании имени Гаркуши и штурман, и машинист Яремчук тоже заулыбались. Мария вопросительно взглянула на капитана, и Савелий Иванович весело объяснил:

— Был раньше грех у Гаркуши: любил заглянуть в бутылку. На судне не пил никогда, зато на берегу... Не успеют, бывало, ошвартоваться, как уже готов, на бровях ползает. Списывали его с судов... В конце концов попал на «Владимир», пассажирская Крымско-Кавказская линия. Капитан «Владимира» и придумал боцману наказание: неподалеку от порта подходил к какому-нибудь бую и высаживал на него Гаркушу. А на обратном пути подбирал... Ну, в порту, известное

дело, разгрузка-погрузка, посадка-высадка — часа четыре минет. За это время накланяешься каждой волне, раз пять наизнанку вывернешься... Месяца два терпел Гаркуша, характер выдерживал. А после сдался: поклялся, что в рот не возьмет оковитой. И что вы думаете? Сдержал слово. Как говорится, завязал двойным выбленочным узлом.

Посмеиваясь, моряки стали припоминать различные истории, которые приключались с Гаркушей, когда тот еще «заливал за форменку»... Однажды, возвращаясь из ресторации, он перепутал причалы и отправился ночевать на итальянский пароход. Заслышав непонятную речь, решил, что вахтенный попросту пьян и потому бормочет черт знает что. Честолюбие служаки взыграло в боцмане! Сгреб матроса в охапку и потащил к умывальнику, под кран: протрезвить. Команда, разбуженная визгом перепуганного вахтенного, выбросила Гаркушу на причал прямо через борт... Накануне юбилея царского дома боцман постирал по-холостяцки бельишко. Вечером, уже в темноте, повесил его сушиться на штаге с флагами расцвечивания, подготовленными к праздничному подъему. Видимо, рассчитывал снять белье до рассвета. Но то ли проспал, то ли забыл в суете. И вот, когда в торжественную минуту к верхушкам мачт поползли соцветия пестрых флагов, вместе с ними затрепыхались над палубой и боцманские сорочки. Кальсоны развевались на свежем ветру величественно, как брейд-вымпел. Весь церемониал, конечно, пришлось повторять сначала... Да мало ли что еще случалось с Гаркушей!

Однако, рассказывая о нем, и Савелий Иванович, и штурман, и Яремчук сходились на том: боцман он первостатейный.

Слушая эти истории, Мария радовалась тому, что у моряков «Аскольда» появилось наконец хорошее настроение. Даже с лица штурмана исчезло выражение постоянной иронии, и он улыбался как-то по-новому, светло и открыто.

А около полудня прибыл на «Аскольд» и сам Гаркуша. Саженного роста, широкоплечий, со следами оспы на цыганской черноте лица, он и по палубе двигался как-то широко и громоздко. В нем было что-то разбойное. И только большие серые глаза, которые так редко

встречаются у черноволосых, выдавали его врожденную мягкость и доброту.

Савелий Иванович пригласил Марию в каюту, чтобы познакомить с боцманом. Гаркуша осторожно, словно боялся своей неуклюжей силы, пожал ей руку. И замер настороженно, выжидающе, видимо угнетенный предупреждением капитана о роли Марии на корабле. А она не знала, с чего начать разговор, и потому ее голос прозвучал неестественно, принужденно:

— Соскучились по морю?

— Есть маленько,— так же принужденно улыбнулся Гаркуша в ответ.

— Ну, а веры вы какой? — поинтересовалась Мария, боясь покраснеть, стараясь полушутливым тоном прикрыть официальность вопроса.— Время тревожное. Вдруг ненароком встретимся в море с белыми?

— Я — как Савелий Иванович,— с готовностью выпалил боцман и взглянул влюбленно на капитана, вполне убежденный, что ответ его самый правильный.

— Да-а, не очень определенная платформа,— покосилась на капитана Мария. Савелий Иванович сидел молчаливо, не выказывая своего отношения к разговору ни взглядом, ни жестом. Словно его в каюте не было вовсе... Но за этим наигранным равнодушием угадывалась усмешка. «Что, съела? — казалось, хотел он вымолвить. — Здесь корабль, а не митинг. И сколько бы уисполком не присылал своих представителей, капитан остается для всех капитаном».

Нахмурясь, Мария посмотрела на Гаркушу в упор:

— Пьете?

— Не-е,— смутился тот. И неожиданно добродушно признался: — Дак и нечего: старую монопольку еще при царе распили, а новая пока не работает...

— Новой не будет.

Боцман с сомнением покачал головой, торопливо приподнял брови, будто хотел посоветоваться с капитаном: стоит ли, мол, об этом судачить? Но все же не выдержал, возразил:

— Должно быть, все-таки будет... Без монопольки ни одна казна не продержится.

Мария расспросила о семье, о том, служил ли Гаркуша в военном флоте. И поспешно поднялась: о чем бы еще спросить, она не знала.

Злилась на свою беспомощность. Уверена ли, что каждый из экипажа «Аскольда» в трудную минуту не дрогнет, останется верным революции? Штурман? Машинист Яремчук?.. «Я — как Савелий Иванович»,— вспомнила улыбку Гаркуши. А Савелий Иванович тоже пока для нее неизвестность. Вот и реши... «Здесь корабль, а не митинг»,— что же, прав капитан. На митинге проще. Разговаривать с массами всегда, наверное, проще, нежели думать о каждом человеке в отдельности.

Стоя у борта, видела, как вслед за нею вышел Гаркуша, неторопливо побрел по палубе. В одном месте боцман остановился, потрогал пальцем облезшую краску, поморщился. И так же степенно двинулся дальше, ревниво и по-хозяйски заглядывая во все судовые закутки.

А чуть попозже явились на судно сразу два кочегара. Они приплыли из Алешек на каюке, который тут же старательно привязали под кормой у «Аскольда». Гаркуша помог им подняться по штормтрапу, и Мария увидела в руках кочегаров двух огромнейших судаков и десятка два соленых рыбцов. «Это в общий котел»,— смеялись алешковцы. Боцман обнял их, как старых знакомых, и повел к капитану. «Все тут друг друга знают, все связаны между собой,— невольно отметила она.— Хорошо это или плохо?»

Разговор с кочегарами для нее оказался еще сложнее и тягостнее. Оба они когда-то служили с Савелием Ивановичем, оба откровенно признались, что совсем отощали без заработка и готовы плыть на «Аскольде» хоть к черту в зубы. «Где же настоящие коммунисты? — с тоскою думала Мария.— На кого опереться? Рейс предстоит не прогулочный, а действительно к черту в зубы... Только черт пострашней самого Люцифера: белая контрразведка».

Окончательно Мария расстроилась вечером... Савелий Иванович попросил зайти на минуту к нему. Он познакомил Марию с седым и кряжистым стариком, который назвался шкипером Кондрашовым из Кардашинки, и пареньком лет семнадцати, боязко присевшим на край капитанской койки. День кончался, в каюте было серо и сумрачно; в углу, перед образом, коптила лампадка, зажженная неизвестно по какому поводу, и ее

шаткий, неровный свет делал похожим тесное помещение на монастырскую келью.

— Вот, крестника к вам привел,— показал Кондрашов на паренька.— Пусть начинает морячить, приучается к морю. Я бы и сам пошел, дак пуля-дура мешает.

Он тут же обстоятельно рассказал, как весною попал под шрапнельный обстрел. Заслышав посвист снаряда, поспешно присел в бурьян, однако не успел перекреститься, как шандарахнуло над самою головой. Пуля пробила кисть руки, вошла в ногу да там и застряла.

— Ни стать на ногу как следует, ни сесть. А уж на дурную погоду и вовсе шалеет. Мыкается там в середке, стерва,— видать, где послаще ищет.

Паренек завороженно глядел на старика, не замечая, что Мария внимательно разглядывает его самого. Был он крепок и хорошо сложен, с едва пробивающимся пушком на щеках да над верхней губою. Но глаза еще детские, удивляющиеся; и женщина с грустью подумала о том, что совсем недавно паренек ловил в конопле чижей, воровал со сверстниками арбузы на чужих баштанах, а вечерами, пока не покличет в хату сердитая мать, целовался с девчатами: робко, через косыночку. «Рейс предстоит суровый: если задержат нас белые — не пощадят...» На миг представила паренька с простреленной головою, с глазами, застывшими, удивленными навсегда. «Нет, только не это. Мы, старшие, сами докончим Врангеля, сами поставим последнюю точку войны. А паренек на свободной земле пусть радуется и учится, пусть строит новую жизнь. Революция — не только война, революция продлится немало лет, и ему в ней найдется иная работа».

В каюте все испуганно замерли, когда Мария как можно жестче, ибо боялась расспросов и возражений, произнесла:

— Мы не можем взять вашего крестника, товарищ Кондрашов. Каждый человек у нас на счету, и мы принимаем лишь опытных моряков.

И вышла из каюты, чтобы скорее покончить с этим. Уже в коридоре услышала, как тяжко вздохнул Кондрашов:

— Значит, и у большевиков это самое... Только своим дают работенку.

Старый шкипер потерянно и тоскливо выругался.

В кают-компании было теперь гораздо оживленнее, нежели раньше. Не умолкала ни на минуту беседа. Моряки вспоминали былые плавания, спорили о мореходных качествах судов, о лихости капитанов и шкиперов. Только Савелий Иванович сидел угрюмый. Наверное, думал о случае с Кондрашовым, о том, что он, выходит, не капитан на «Аскольде», а бог знает кто... Он как-то сразу, на глазах, осунулся и постарел.

«Как объяснить ему? — мучилась и Мария. — Завтра же побываю в уисполкоме... Капитан обязан знать цель предстоящего рейса. Мы с Савелием Ивановичем должны понимать друг друга. Или же разойтись...»

Она рано ушла в каюту. Лежа на койке, слышала, что споры в кают-компании по-прежнему не умолкают. Эти споры, пройдя через пустые отсеки «Аскольда», доносились до нее отдаленным, приглушенным гулом.

6

Савелий Иванович растерялся и побледнел, когда Мария сообщила ему о том, что его и штурмана вызывают в уисполком. Видимо, он плохо разбирался в наименованиях советских учреждений, которые к тому же стало модным называть сокращенно. Все эти ревкомы, губкомы, волкомы, исполкомы сливались в его представлении во что-то единое целое, однообразное, в чем ему, старому капитану, было разобраться сложнее, нежели в картах Эгейского моря или Балтийских шхер. Но и он, и штурман в шлюпку спустились в форменных тужурках, гладко выбритые.

Мария решила в тот день побывать с машинистом в затоне. Поиски угля шли безуспешно: кое-где попадались лишь небольшие кучки слежавшейся угольной пыли. И вдруг обнаружилось, что в затоне стоит неизвестно с каких времен речной пароход с полным бункером. Нужно было осмотреть его, придумать, как подтащить пароход к «Аскольду».

Кочегары гребли враспашную: каждый одним веслом. Мария сидела на носу шлюпки, а Яремчук — на корме, у румпеля.

День выдался сносный, безветренный. Время от времени сквозь неплотную пелену туч просачивалось жидковатое солнце — тогда и город, и Днепр, и плавни вокруг светлели, приобретали тени и колеры вместо унылой серости, наскучившей взору. Становилось немного светлее и на душе: солнечный свет, какой ни есть, оживлял и лица людей, и Марии начинало казаться, что все тревоги уже позади, что все теперь будет хорошо и удачно не только в предстоящем рейсе, но и в жизни вообще.

Река текла медлительно-плавно, величественно, лишь изредка закручиваясь в маленькие воронки-змейки. И эта плавность, не подвластная ни времени, ни людским страстям, успокаивала, умиротворяла. Город, хоть был и рядом, чудился отдаленным, отодвинувшимся на самый загривок степи. Лежал на склоне горы, но не было над ним ни дымов, ни птиц, и, может быть, потому он казался плоским и в то же время неровным, точно клочок страницы, исписанной нервным корявым почерком. Улицы обрывались на степных окраинах недописанными строками. И только на самом краю Херсона возвышалась над всем красноватая глыба тюрьмы, спесивая, как восклицательный знак. «Последняя точка минувшей истории города»,— подумала Мария и отвернулась: не хотелось смотреть на город.

В плавнях царил покой, еще более глубокий, чем на реке. В этой тишине резко, как выстрелы, слышались всплески рыб. Один из кочегаров не выдержал:

— Эх, блесну не прихватили... Гляди, пару щук и подцепили бы.

За ериком открылся затон — одичавший, заброшенный. Табунок чирков хлопотливо сорвался с воды и унесся над самыми камышами, словно пригибаясь к земле.

В разных концах затона темнели полузатонувшие баржи, останки речных пароходов, изъеденных ржавчиной, догнивали, уткнувшись в берег, «дубки»— с покосившимися мачтами и оборванными вантинами. В бортах деревянных суденышек зияли проломы, из черноты которых торчали, как обглоданные кости, ребра шпангоутов.

«Здесь, как и всюду, нужны хозяйские руки,— с болью думала Мария.— Сколько потребуется труда, чтобы

поднять страну из руин! Тяжкое досталось наследство от старого мира».

Пароход стоял намертво на двух якорях — Яремчук поначалу даже испугался: не на грунте ли? Обошли на шлюпке вокруг, и машинист, привязав к веревке колосник, старательно вымерял глубину. Облегченно вздохнул, убедившись, что пароход на плаву. Поднялись на палубу, приподняли круглый люк и не сдержали радости: бункер доверху был наполнен черным блестящим углем.

— Теперь задача — раздобыть буксиришко,— вслух рассуждал Яремчук.— Работы ему — часа на четыре, угля для этого понадобится — всего ничего. При нужде и на дровишках потянет. Сходишь к Матвеичу,— приказал он одному из кочегаров,— скажешь, чтобы готовил птаху свою...

— Какую птаху? — не поняла женщина.

— Буксирчик тут есть портовый, «Волна» называется,— пояснил машинист.— Он-то и подгонит к борту «Аскольда» эту посудину.

Когда возвращались обратно, кочегары примолкли. Только загребной с сожалением кивнул на дальний угол затона, вздохнул:

— Отсюда раскопанным ериком минут пятнадцать до Конки. А там... Часа через полтора был бы в Алешках, дома.

— Скучаете?

— Как не скучать? Детишки там у меня, жена... А вы, извиняюсь, семейная?

— Отец, мать...— негромко ответила Мария. И неожиданно для себя — то ли шуршание камышей навеяло, то ли завидная судьба кочегара — призналась: — Был человек любимый... Погиб.

— Да-а, — неопределенно протянул загребной. — Море — оно в этом плане злое. Бывает, по целому году не видишь дома. Забываешь, как детишки сопят во сне.

Так и не поняла: или не расслышал моряк ее признания, или же попросту тактично перевел разговор на иное...

Обрадовалась, когда из-за гряды верболоза вновь появился город. И странное дело: Херсон теперь не казался ей мертвым и сумрачным, как час назад. Просто — усталым, забывшимся от потрясений и голода. Словно

шел этот город по Таврии к морю, споткнулся о правый днепровский берег — и упал ничком на крутую степную хребтину.

Мария впервые попала в плавни, ее не покидало чувство затерянности среди камышей и воды, которое ощутила она в затоне. Поэтому на палубу «Аскольда» поднялась с облегчением, словно вернулась в родной дом. Гаркуша, встретивший их у трапа, сообщил, что ее хочет видеть Савелий Иванович.

Капитан — задумчивый, удрученный — тяжело встал из кресла навстречу женщине. В кресло усадил ее, а сам примостился на краешке койки. Не глядя на Марию, долго молчал и курил. Потом, словно нехотя, произнес:

— Меня познакомили с целью предстоящего рейса... Между прочим, предложили списаться, если я не согласен идти.

— Ну и что же вы?

— Я много лет командую этим судном,— поднял он наконец глаза, полные укора.— И останусь на мостике, куда бы «Аскольд» ни шел.

— Спасибо, Савелий Иванович! — схватила она в ладони руку капитана и скорее погладила, чем пожала.— Спасибо!

Тронутый этой невольной лаской, старик подобрел, смягчился и поспешил успокоить — то ли Марию, то ли себя самого:

— Все обойдется... И не в таких передрягах бывали.

— У меня — гора с плеч. Теперь будем работать вместе.

— Да, думать одному о таких вещах — страшновато.

— А как штурман?

— Не знаю,— снова помрачнел капитан.— С ним разговаривали без меня.

Она догадывалась: старик еще полон мыслями о рейсе, цель которого узнал лишь сегодня, ему хочется побыть одному. Поднялась. Но у двери на миг задержалась:

— Вы, Савелий Иванович, не сердитесь за племянника вашего друга-шкипера. Не могла его взять на судно... Молод он, мальчишка совсем. И ему этот рейс...

У каюты штурмана Мария невольно замедлила шаг. «Зайти, что ли? Или не надо? А, будь что будет...»

Штурман встретил ее подчеркнуто вежливо, даже галантно, но ей показалось, что он избегает смотреть ей в глаза. Спросила сразу и напрямик:

— Вы отказались от рейса?

— Нет,— слегка улыбнулся он, и так как наступившая пауза становилась томительно долгой, объяснил: — Мне предложили подумать. Я и подумал. Заявил, что остаюсь на «Аскольде»... из-за вас.

— Что? — не поняла женщина.

— Из-за вас,— уже смелее ответил штурман.

Мария смотрела на него растерянно, чувствуя, как лицо наливается жаром, как подрагивают мелко губы, не в силах вымолвить слова. А штурман, заметив замешательство женщины, внезапно милостиво изрек, словно судья, оправдывающий подсудимого:

— Мое заявление, конечно, ни к чему не обязывает вас...

— Не обязывает? — взорвалась Мария.— А то, что на «Аскольде» завелись болтуны, галантерейные жоржики? Играют в этаких рыцарей, в охи и ахи — в то время, когда речь идет об ответственном рейсе, о борьбе, о революции!..

— К революции, должо быть, я все равно бы пришел. Лет через десять. А вы ускорили это. Что же здесь дурного?

— Вы попросту одичали на пароходе. И едва увидели юбку...

— Ну, знаете...— перебил, рассердившись, штурман.— В конце концов, можете относиться ко мне, как хотите. Но мои чувства — дело мое, и вы не вправе касаться их.

Они стояли, почти ненавидя друг друга. Мария потому, что ее воображение рисовало в дурацком свете весь этот сентиментальный разговор в уисполкоме — разговор, в котором она, комиссар корабля, по сути, выглядела как провинциальная барышня-обольстительница. Штурман же все-таки чувствовал вину перед женщиной, а люди, в своем большинстве, устроены так, что в минуты раздражения всегда ненавидят тех, перед кем виноваты.

— Послушайте,— сказала Мария наконец,— вам не кажется все это смешным и глупым? Чеховским водевилем в самое неподходящее время? От успеха рейса зависят многие жизни в Крыму, в тылу у белых. Да и все мы в этом рейсе зависим от мужества и преданности каждого.

Он резко обернулся:

— Вы допускаете, что я способен на предательство? Но почему? Вы поверили бы скорее, если бы там, в уисполкоме, я разглагольствовал о мировой революции, повторял бы лозунги, что висят в коридорах? В нашу первую встречу вы спросили, не священник ли я... А вы, большевики, не меньше священников любите громкие фразы и проповеди, верите в догмы. Разве верность человека — в его словах? Погодите, не перебивайте,— насупил он брови.— И еще об одном... Ссылка на мать, на жену, на детей — достаточный повод для перевода из порта в порт, нового назначения, отпуска. Но если женщина — не жена, как тотчас же находятся люди, для коих подобные отношения — не более чем водевиль. Вот и вы...

— Но почему вы не подумали обо мне? Как я выгляжу теперь в глазах товарищей?

— Как может выглядеть женщина, если она кому-то нравится! Не понимаю...— пожал плечами штурман.— Не предполагал, что вы притащите из старого мира никчемные пустые условности. Был бы обычный и скучный рейс, я никогда не сказал бы такого. А здесь... Простите меня,— взглянул он в глаза Марии,— обидеть вас не хотел. Просто с вашим приходом ворвалось в жизнь что-то новое, нужное—и захватило меня. Очнулся от спячки — и на радостях бухнул в колокола... Простите.

Мария вдруг поймала себя на том, что кающийся штурман гораздо менее ей симпатичен, нежели тот, другой, минуту назад: упрямый, твердый, слегка насмешливый...

В тот вечер она не поднялась в кают-компанию к ужину. Лежала на койке, натянув поверх одеяла еще и пальто: отовсюду тянуло холодом. За иллюминатором угадывалась глубокая плотная темнота, и Марии порою чудилось, что каюта расположена ниже ватерлинии, под водой. Того и гляди, уткнется в стекло любопытная

рыбья морда... Она закрывала глаза, и тотчас же воскресали серая и густая вода затона, остовы мертвых судов, заброшенность камышей под осенним ползущим небом. В этих навязчивых видениях-воспоминаниях, которые невозможно было прогнать, возникали, как отдаленный колокольный звон, отголоски какой-то печали, смутная боль, беспричинная и неясная. Она, эта боль, была необъяснима, как предчувствие. Не умея в ней разобраться, разгадать ее, женщина беспомощно бродила между тревожными потаенными думами и упиралась в них, словно корабль в берега.

Все последние годы Мария находилась в водовороте событий, в борьбе, и почти не выпадало минут, чтобы побыть наедине с собою, поразмышлять о себе. «Аскольд» предоставил в избытке такие часы, раздумную гнетущую тишину... Все, что ее окружало в последние дни, было зримым образом одиночества, отрешенности от ярости, вздыбленности и решимости, которыми жил народ. И хоть Мария не догадывалась об этом, она ощутила внезапно в своей судьбе горестные, полные грусти пустоты. Разговор со штурманом обнажил их, и она, почти тридцатилетняя женщина, вдруг с испугом почувствовала, что готова быть любимой, готова полюбить сама — пусть не штурмана, кого-то другого...

Ее одолевали сомнения, которые сама в себе растравляла... Мария не знала, что у каждого бывают периоды, когда любовь становится единственным смыслом жизни. Нередко это периоды самых высоких душевных взлетов. Но она немало наслушалась доморощенных крикунов-философов, которые без конца твердили о том, что революция не терпит сентиментальностей, охов и вздохов: любовь такой же обман, предрассудок, как и религия. Революция — не для нежностей, истинный революционер обязан сбросить с себя любые путы, в том числе и путы любви. И потому сейчас, ощутив тоску по дружбе, по уюту, по людской теплоте, корила себя за то, что раскисла, как барышня, а воля и непреклонность должны быть собраны воедино, в кулак. «Эх, штурман, штурман, чтоб тебя...»

Уснула далеко за полночь. Но и сны ее были не комиссарскими, а тревожными и горячими, как щека, прижавшаяся к щеке.

7

Буксиришко, работавший на дровах, полдня тащил из затона к «Аскольду» пароход, груженный углем. Едва справляясь с течением, он пыхтел и отплевывался, словно живой, и пар, которого и так не хватало, весело сочился из всех его щелей и патрубков. Когда пароход ошвартовали у борта «Аскольда», буксирчик на последнем дыхании поплелся вдоль Кошевой, за Зеленый базар. Было грустно смотреть ему вслед и думать, что это крохотное суденышко снова уткнется в берег, стравит пары, а вместе с ним и жизнь, и опять погрузится в долгую спячку до лучших времен. Когда-то они настанут, эти самые времена!

На палубе «Аскольда» главенствовал теперь Гаркуша. Налаживал сходни, доставал из захламленных корабельных кладовых какие-то ящики, корзины, мешки — все пригодится при перегрузке угля; открывал ручником и зубилом крышки бункерных люков, успевшие кое-где проржаветь и заклиниться, ругал кочегаров за то, что запустили свое хозяйство, хотя большинство их служило на судне второй или первый день. Однако за напускною строгостью боцмана угадывалось возбуждение. Он, видимо, радовался тому, что наконец-то и на «Аскольде» наступила настоящая жизнь.

На погрузку угля вышли все, кроме машинной команды: Яремчук со своими подручными готовил к рейсу машину — вместе с котлами, паропроводами, донками, холодильниками и бог еще знает чем. Машинисты работали где-то внизу, во чреве судна. На палубе появлялись лишь изредка, громко сморкались, будто хотели прочистить нутро от застоявшегося, прокисшего вместе с металлом воздуха, и торопливо глотали свежий. Их руки и лица темнели пятнами смазки и ржавчины.

Заметив машинистов, Гаркуша по привычке ворчал:

— Вы мне, черти, краску не выпачкайте...

Те насмешливо косились на стенки надстройки — когда-то белые, а ныне сомнительно чахлого цвета, с облупившейся местами краской и грязными затеками под иллюминаторами. И боцман, не в силах вынести и эти насмешки, и эту запущенность, в сердцах махал рукой. Через минуту его повелительный голос уже раздавался в другом конце корабля.

Хотела было и Мария принять участие в аврале, но тот же Гаркуша вежливо отстранил ее:

— Не женское это дело, звиняюсь... Хоть теперича и равноправие, и бабы таскают шпалы в порту наравне с мужиками, а все ж не годится... Пускай марсофлоты мои разомнутся. И пыли угольной им глотнуть не боязно: нутро самогоном промоют.

Мария поднялась на мостик. Медные поручни трапов, давно не чищенные, были шероховаты от окиси. На рубочных стеклах лежала — который год! — пепельная степная пыль. И Мария неожиданно улыбнулась, сама не зная чему. Может быть, радостному сознанию, что через несколько дней все здесь, на мостике, оживет, преобразится, и в вымытых стеклах рубки, как и в глазах моряков, отразится острая синева моря.

Отсюда, с мостика, хорошо просматривались и Кошевая с застывшими судами у берегов, и город — почти до самой Суворовской. Небо над городом заметно приподнялось, поредело, стало как будто легче. Ветер натужно тащил по нему, вслед ушедшим дождям, остатки изорванных, отощавших туч. Все предвещало добрую, безветренную погоду, ясное и не злое осеннее солнце, броские, удивительных сочетаний краски, на которые так щедры накануне листопада плавни. И это тоже вызвало у Марии улыбку. «Нет, все-таки задание уисполкома будет выполнено! Споро, возбужденно работают моряки!»

Она прошла на крыло мостика, чтобы взглянуть на палубу стоявшего рядом парохода. С той палубы по шатким сходням торопливо поднимались на борт «Аскольда» моряки, сгибаясь под тяжестью корзин и мешков, наполненных углем. А рядом, по таким же сходням, спешили навстречу им те, кто уже освободился от ноши. Шутки, подковырки, окрики, частый смех и незлобная перебранка, и над всем этим — темное облако пыли, которое медленно, словно жалея расстаться с веселой работящей ватагой, сползает за борт, на загустевшую воду реки.

Гаркуша таскал самые полные корзины — таскал, казалось, легко, вовсе не напрягаясь. При этом успевал и замечать все вокруг, подгоняя тех, кто замешкался или, по мнению боцмана, недостаточно старался. Савелию Ивановичу работа явно была не по силам: после каж-

дого мешка он подолгу стоял у борта, тяжело переводя дыхание. Гаркуша что-то говорил ему, видимо, предлагал спуститься в каюту, но Савелий Иванович упрямо мотал головой и, отдышавшись, опять спускался по сходням за новой толикой груза. «Вот такие и становятся капитанами, — с уважением подумала Мария. — Интересно, штурман — такой?» Она внимательно вглядывалась в каждого, прежде чем распознала штурмана. Тот, как и многие матросы, успел уже сбросить куртку и работал в одной тельняшке, пестрой не только от синих и белых полос, но и от угольной черноты. Голову его покрывал вывернутый на манер капюшона мешок. Он поднимался с грузом ритмично, расчетливо, не позволяя сходням раскачиваться: словно канатоходец. Корзина, полная доверху, лежала на его спине неподвижно, точно приваренная. «Молодец!» — усмехнулась Мария. Ей было приятно, что этот человек — говорливый, всегда недовольный чем-то — оказался на поверку таким же сильным и сноровистым, как боцман Гаркуша, как большинство матросов, широких и в развороте плеч, и в кости.

Когда объявили перекур, штурман прошел на нос корабля, к судовому колоколу, и вдруг умело, с какой-то лихостью, отбил двухчасовую склянку. И все повернулись на звон, заулыбались: это был первый голос оживающего «Аскольда».

Ужинали в этот день наскоро: решили продолжить погрузку и ночью, при свете двух фонарей, заправленных керосином, которые неведомо где раздобыл Гаркуша. Всю ночь, лежа в каюте, женщина слышала торопливое шарканье ног по палубе и глухой шум ссыпавшегося в люки угля.

Бункеровку закончили к исходу второго дня. Мария, свободная от аврала, возилась на камбузе, сварив в этот день кашицу погуще. Но к ее огорчению моряки, валившиеся от усталости с ног, ели вяло и нехотя: видимо, каждый мечтал поскорее добраться до койки.

— Надо бы вахтенного у трапа выставить,— заметил Савелий Иванович. — Мы теперь как-никак плавединица.

— Угу,— согласился боцман и повел глазами по лицам матросов. И матросы сникали под этим взглядом, усиленно рассматривали миски перед собой: каждый

боялся, что его не минует очередь вахты, а сил уже не хватало даже на то, чтобы вымыть после еды посуду.

— У вахтенного не будет сегодня сугубо морских обязанностей? — спросила Мария. — Тогда назначьте меня. Я ведь единственная, кто минувшей ночью отдыхал.

Гаркуша растерянно покосился на капитана, а Савелий Иванович замер, не донеся ложки до рта. Штурман иронически усмехнулся. Только матросы по-прежнему не подымали глаз: каждому было все равно, кто заступит на вахту, лишь бы не он сам.

— Ну что ж, решено, — воспользовалась паузой Мария. — Если случится что-нибудь важное, я немедленно разбужу боцмана. Можно, товарищ Гаркуша?

— Конечно... — поспешно ответил тот, не подозревая, что это разрешение прозвучало как согласие на вахту Марии.

— Вот и отлично, — поднялась она из-за стола. — Какие-либо инструкции будут?

— Да какие уж тут инструкции! — все еще не придя в себя, развел руками Савелий Иванович. — Глядеть, чтоб какая-нибудь вражина не подобралась к судну.

Матросы один за другим покидали кают-компанию, видимо опасаясь, как бы капитан не изменил решения. Но Савелий Иванович уже не пытался разубедить Марию и только устало советовал:

— Поплотнее закутывайтесь в платок: ночи теперь сырые, холодные... Сейчас пришлю вам реглан.

Через полчаса все на «Аскольде» спали. Подняв потертый, с остатками меха воротник реглана, время от времени нащупывая в кармане наган, Мария бродила по палубе: от кормовой надстройки — через шкафут — к полубаку. Затем обратно. Снова и снова... Ночь была глухой и глубокой. Ветер лишь изредка, словно ворочаясь во сне, шевелил дремучую вязкую темень и тут же опять замирал, обессилев. Небо очистилось окончательно, но звезды никак не могли разгореться и тлели, мелкие и бесчисленные, как потухающие угли пепелища: светились так блекло, что даже не отражались в воде. Одинокие огни города не расслабляли, а лишь подчеркивали черноту ночи. В этой черноте, в которой терялись всякие контуры, пугливо и затерянно поскуливали псы — должно быть, в окраинных припортовых улочках.

Как ни пыталась, Мария не могла сейчас представить Херсон иным, оживленным и шумным,— таким, каким виделся в будущем он председателю Чека. Ей чудилось, будто здесь, на стрелке Кошевой и Днепра, сошлись не людские пути, завязавшись в каменный узел-город, а бескрайняя степь, непролазные плавни да сырое осеннее взморье. Сошлись — и застыли так, неподвластные времени: под шуршание камышей, журавлиные всхлипы в небе, под ритмичные всплески моря, что накатывалось из века в век на пустынные скифские берега. И потому люди казались попросту лишними в этом краю, ненужными, ибо они не могли ничего изменить в устоявшемся здесь равновесии земной тишины, неподвижности и бездумного безразличия каменных баб на курганах — ко всему, что творилось на свете. Вот и ее, Марии, пути, на которых она познала бои и бури, ненависть и решимость, приткнулись к этому краю — и потускнели. В этой ночи, в затерянности меж плавней, на палубе мертвого корабля... И самое страшное: в сердце как будто таял порыв, которым жила она все эти годы, и вместо него, вместо железной бескомпромиссности, всегда ей присущей, появилась печаль, незнакомая раньше, какое-то предчувствие, которое и радовало, и пугало одновременно. «Неужели от дурацкой болтовни штурмана?»

Ох, как трудно бродить по палубе и ни о чем постороннем не думать. Время тянется медленно, нудно, а ты одна, сама с собою, освобожденная от чьих-то взглядов, пусть даже дружеских, от постоянных немых вопросов и от чужих надежд. И эта вынужденная свобода — от дел, от соседнего локтя, от долга — невольно обращает взор к своему, сокровенному, тайному — ко всему, что забывается в обычном водовороте будней с их обязанностями, тревогами и заботами.

А каково морякам! Сколько всяких дум перебродит в каждом, если такие вахты длятся всю жизнь, изо дня в день! В разных морях, в разных широтах, под разными звездами. Наверное, вахты, полные одиночества, формируют характеры: не случайно моряки в большинстве своем — немногословны и замкнуты. Их мир остается в сердце, ибо их исповедь молчалива. Они и клянутся, и верят молча. Почему же она, Мария, рассердилась на штурмана? И почему сомневается в его верности?

Текли раздумья, скрадывая время, и Мария уже не смогла бы ответить, час или пять бродит по палубе. В городе угомонились даже самые чуткие псы, и тишина — то ли полуночная, то ли предутренняя — плотно лежала над уснувшей землей. Мрак по-прежнему был непроглядным, в нем терялись и плавни, и город, и Днепр. Да и надстройки «Аскольда», мачты, мостик, шлюпбалки казались расплывчатыми, бесконтурными, лишь более темными, нежели ночь. Только Кошевая вдали както странно обозначалась узкой белесоватою полосой, и Мария не сразу догадалась, что это стелется над водою сырой осенний туман. «Наверное, и в море сейчас такие же темные ночи. Что ж, это хорошо: легче будет проскочить мимо вражеских миноносцев.— И с внезапной радостью подумала: — Господи, да ведь «Аскольд», по сути, готов уже к плаванию! Все теперь зависит от машинистов. Завтра расспрошу Яремчука».

Услышала, как тяжело заскрипела дверь тамбура, затем приближающиеся шаги по палубе. «Кто это?» — насторожилась.

— Не замерзли? — появился из темноты штурман.— А я уже выспался. Решил вот вас подменить...

— Гм, спасибо... — И, не зная, о чем говорить после их дневной ссоры, спросила по-деловому: — Вам что же, наган дать?

— Зачем, раков на дне пугать? — отмахнулся штурман. И этот небрежный жест невольно задел самолюбие женщины: она-то считала вахту опасной, вооружилась. А оказывается... Штурман мог бы об этом и промолчать.

Моряк не заметил ее обиды. Закурил и, закашлявшись от первой глубокой затяжки, так же миролюбиво промолвил:

— А вот реглан придется у вас одолжить: он на судне один.

Пока Мария стаскивала с себя тяжелое, негнущееся кожаное пальто, штурман оживленно рассказывал:

— Вы знаете, существует церемониал передачи вахты. Вы должны бы мне доложить, что «Аскольд» ошвартован у берега левым бортом, что заведены шесть швартовов и отдан правый якорь, а на клюзе тридцать метров якорьцепи. Море спокойное, ветра нет, видимость... — Он посмотрел вокруг. — Видимость, можно

считать, нулевая. Котлы не действуют, запасы питьевой и котельной воды, продовольствия, топлива — пакостные. Что еще? Весь экипаж на борту, под килем два метра воды, приказаний по вахте нет. Нет ведь?

— Пожелание счастливой вахты сменщику входит в церемониал?

— Вы хотите пожелать мне счастья?

— Главным образом, безопасности судна.

— Что с ним станется! — как-то безразлично протянул штурман.— Откровенно говоря, эта вахта нужна, как мертвому банки. Но если кэп приказал...

— На корабле должен быть порядок,— перебила, нахмурясь, Мария. Новый вахтенный затянулся цигаркой, вспыхнул на миг огонек, и в этом свете — коротком и быстром — она успела заметить насмешку на лице моряка.

— «Аскольд» — самая низшая ячейка государства, а снизу начинаются лишь беспорядки. Порядок исходит сверху. И если порядка нет...

— Спокойной ночи,— сказала она и направилась к тамбуру. Однако не смогла открыть дверь, и штурман, видимо услышав, как она неумело возится с рычагами-задрайками, подошел помочь.

— Найдете в темноте свою нору? — спросил он.— Может быть, посветить?

— Нет, не надо.

Мария подчеркнуто смело шагнула в сплошную темень жилого коридора и едва не расшиблась о переборку. Молча, про себя, чертыхнулась. Но только выждав, когда шаги штурмана удалились, осторожно, ощупывая углы и стенки, начала пробираться к своей каюте.

8

Проснулась от непонятных звуков. Вокруг что-то шаркало, стучало, терлось, будто «Аскольд» чесался бортом о берег. Открыла иллюминатор — и не сдержала улыбки: день был ясный, солнечный. Река переливалась отблесками света и потому казалась нарядной и праздничной. Да и город как-то вдруг посветлел, словно тоже заулыбался. Над ним опрокинулось глубокое, по-осеннему синее небо.

Поднялась наверх и только тогда разгадала разбудившие ее звуки: матросы драили палубу. Кто на корточках, кто на коленях, они торцами кирпичей растирали песок, счищая с деревянного палубного настила многолетнюю коросту грязи. Боцман и штурман чистили медь, и поручни трапов под их руками начинали сверкать, как осколки солнца. Заметив Марию, Савелий Иванович произнес, довольно потирая руки:

— Большая приборка! А там вон... Взгляните! — кивнул на корму. И снова Мария радостно улыбнулась: на кормовом флагштоке развевался красный флаг торгового флота Советской России.

За Днепром золотились осенними красками плавни. Меж темной зелени верб желтели стройные осокори, шелковица, бледно алели клены, начавшие раньше других облетать. От плавней тянулись к городу спаренные бок о бок шаланды, груженные камышом. А к Зеленому базару проплывали время от времени мимо «Аскольда» дубки с капустой, тыквами, бураками. Тогда моряки на судне отрывались от дела, и каждый пристально вглядывался в лица людей на дубках: не из его ли села?

И в Кошевой, и на плесе, и под левым днепровским берегом неподвижно замерли каюки рыболовов. На удилища висла белая паутина, медленно летевшая над водой.

Солнце высветило землю, и Мария увидела рядом на берегу, меж пожухлых бурьянов, свежую поросль травы, а под одной из швартовых тумб — тесную купку грибов-поганок. Сегодня радовало все, даже эти поганки, напоминавшие грибные черниговские леса. И все это вместе — и внезапное воспоминание о родном крае, и щедрость ясного дня, и энтузиазм, с каким экипаж приводил в порядок свой пароход,— в какой-то миг обострили в женщине ощущение молодости. Она почувствовала, что не может сейчас остаться в стороне от команды, что избыток сил переполнил все ее существо. И потому торопливо обернулась к капитану:

— Включайте в аврал и меня!

— Вас? — переспросил Савелий Иванович, не зная, что ответить. Однако тут же, словно о чем-то вспомнив, оживился: — Наведите-ка уют в кают-компании! Вот ключи от буфета, там есть и скатерти, и салфетки.

Сегодня, наверное, будем ужинать при электрическом свете.

В кают-компании Мария энергично начала протирать стекла иллюминаторов, переборки, плафоны ламп. Решила даже поуютнее расставить мебель, но сколько ни пыталась сдвинуть массивный стол, тот не поддавался. Заглянула под стол — и расхохоталась: ножки стола были намертво привинчены к палубе.

Не замечала времени... Услышала восторженный шум, выскочила на палубу. Задрав головы, моряки глазели, улыбаясь, куда-то вверх. Взглянула туда же и тоже ощутила восторг: из трубы «Аскольда» густо валил черный кудрявый дым.

Обтирая руки замызганной ветошью, появился на палубе Яремчук — довольный, сияющий. Он чувствовал себя именинником. Бросив короткий взгляд на трубу, словно оценивал труд кочегаров, машинист негромко, с добродушной щедростью сказочного волшебника объявил:

— После приборки — баня. Дадим в душевую горячую воду.

Да, это был подарок поистине царский. Только тот, кто намерзся за эти годы в окопах, в теплушках, в нетопленных комнатах и каютах, кто уцелел от бредовой карболовой стужи вшивых тифозных бараков, мог по достоинству оценить, какую радость готовят своим товарищам чумазые «духи». И Мария поспешила вернуться к прерванной работе: ей тоже хотелось порадовать в этот день команду чистотой и уютом кают-компании. Чтобы в ней было приятно засиживаться хоть до полуночи...

«Аскольд» оживал — из его помещений исчезала гнетущая, годами устоявшаяся тишина. Внизу, в машинном отделении, что-то гудело и всхрапывало, посапывало, стучали заслонки топок. Оттуда тянуло горьковатым угольным дымом, теплом, пресным, каким-то сытым запахом пара. Да и в самой кают-компании, в коридоре рядом трубы, что тянулись у подволока, начинали шипеть и вздыхать, как живые. Мария, естественно, не могла разобраться во всех этих звуках, однако догадывалась: во все уголки корабля растекается согревающая, животворная сила. Когда гул внизу еще больше усилился, стал плотнее и напряженнее, в кают-компанию

вбежал кочегар — тот самый, что мечтал о встрече с женой,— щелкнул выключателем и возбужденно крикнул кому-то в глубину судна:

— Горит!

Лампы на подволоке тлели желтоватым дрожащим светом. Какое-то время кочегар завороженно смотрел на них, затем подмигнул победно Марии и так же стремительно умчался, загремев каблуками по трапу.

Заглянул боцман — и замер изумленный в дверях, не решаясь войти в помещение в грязной одежде: стол был покрыт накрахмаленной скатертью.

— Вот это да-а,— пришел наконец Гаркуша в себя.— Как на пасху... Савелий Иванович просит вас на мостик.

Капитан, штурман и Яремчук, когда Мария поднялась, заговорщицки переглянулись. Савелий Иванович произнес:

— «Аскольд» своим воскрешением обязан вам. Поэтому за вами право...

Он взял Марию за локоть, подвел к рубке и, указав на тоненький тросик с рукоятью-треугольником на конце, не то предложил, не то приказал:

— Тяните!

Не понимая, она оглянулась, но штурман и машинист лишь загадочно улыбнулись. Женщина робко потянула, но тросик не поддавался.

— Смелее,— подбодрил капитан.

Тогда она потянула что было мочи — и вдруг за рубкой зашипело, вырвалось облако пара, и в следующий миг тишину осеннего дня распорол густой басистый гудок. «Аскольд» подавал — впервые за долгие годы молчания — голос, словно оповещая и плавни, и Днепр, и Херсон о том, что отныне он жив, полон сил и стремления поскорее увидеть море.

Машинист и штурман что-то кричали весело и ей, и друг другу, но что — невозможно было расслышать. А растерянная Мария никак не могла оторваться от рукоятки, точно ладонь прикипела к ней, и зов корабля, неровный и вздрагивающий, продолжал вырываться, казалось, из всех его щелей, будоража окрестный, пригревшийся на солнцепеке мир.

Весь этот день казался ей необычным. Часа через два опять появился боцман и смущаясь доложил, что

душевая готова, что ее очередь, по решению «хлопцев», первая.

Господи, что за блаженство подставить тело под горячие струи! Распущенными волокнами каната Мария терла плечи и спину. Было приятно чувствовать пальцами, как от речной воды волосы становятся мягче и шелковистее. Вода, попадая на груди, весело стекала ручейками. «Интересно, красивая теперь я, здесь, на «Аскольде»? — И тут же рассердилась: — Думаю черт знает о чем... А скоро начнется самое главное: рейс».

В коридоре ей повстречался Савелий Иванович.

— С легким паром,— поздравил он и прищурился: — А вы просто чудо. Красавица! — Заметив, что Мария, скрывая смущение, нахмурилась, он тут же со вздохом добавил: — Я-то могу об этом вам говорить: у меня уже внуков дюжина.

В каюте пахло нагретой краской, а не холодным железом, как раньше. Запершись, женщина начала расчесывать волосы и сушить их возле маленькой, ребристой и круглой, батареи судового отопления. Она отдаленно слышала, как палубой ниже шумно, пожалуй, даже буйно мылись в душевой моряки. Корабль, словно радуясь грубоватому мужскому веселью, по которому истосковался, повторял его низким гулом во всех своих закутках.

К ужину собрались порозовевшие, причесанные и выбритые, будто помолодевшие. В жидковатом свете электрических ламп, горевших в полнакала, тускло поблескивала лысина Савелия Ивановича, и Мария невольно рассмеялась, вспомнив канаты, которыми пользовались на судне вместо мочалок.

Расходиться не хотелось. Кают-компанию покидали лишь те, кому выпала вахта. Вахты были теперь расписаны по всем правилам — и палубные, и у котлов...

Марию попросили сыграть. Сама того не замечая, она вкладывала в музыку грусть, навеянную затянувшимся и бессознательным ожиданием счастья. Может быть, поэтому мелодии звучали приглушенно, тихо, словно не хотели прилюдно раскрыться до конца. И эта недосказанность волновала больше, чем откровенность... Примолкли моряки. Штурман сидел у стола, подперев пятернею лоб. Даже Гаркуша замер, точно боялся неосторожным движением огромных рук нарушить общую задумчивую неподвижность.

Видимо, никто в эти минуты не думал об удивительной силе искусства, о том, что звуки, рожденные в душе композитора много лет назад где-нибудь в чопорной Вене или в лесной глуши Тверского края, воскресали в тесной кают-компании, среди застоявшейся тишины всеобщего запустения. Воскресали — и пробуждали такие же чувства в душах иных, уставших от безработицы, от голода и разрухи.

Начали наконец расходиться. Только штурман сидел по-прежнему неподвижно: видимо, ему хотелось, чтобы этот вечер никогда не кончался.

9

Это был последний день срока, назначенного уисполкомом. Когда Мария поднялась в кают-компанию, ее встретил сияющий Савелий Иванович:

— Только что закончили пробные обороты. Живем! Пейте поскорее чай...

Матросы на палубе с нетерпением поглядывали на мостик. В синем осеннем небе медленно двигались белесоватые прозрачные облака, и по верхушке мачты, слегка наклоненной к мостику, чудилось, будто «Аскольд» уже на ходу и бесшумно плывет в невесомом просторе.

Пробежал возбужденный боцман, крикнул матросам сердито:

— Чего рты раскрыли! Айда на берег — швартовы отдавать!

Вот он, долгожданный миг! И хоть «Аскольд» попрежнему неподвижен, словно прирос за долгие годы стоянки к грунту, кажется, уже ничто не удерживает его у опостылевшего берега Кошевой, в Херсонском захолустном порту. Берег, не связанный с судном тросами, стал каким-то чужим и далеким. Это впечатление было настолько сильным и неожиданным, что Мария невольно поспешила на мостик.

Капитан и штурман выглядели торжественно. Такой же торжественный замер у штурвала в рубке матрос. А внизу, на носу корабля, орудовал у лебедки Гаркуша. Он то и дело поглядывал на мостик — выжидательно, торопяще.

Савелий Иванович наконец снял фуражку, покосившись на Марию, быстро и мелко перекрестился:

— Ну, господи благослови...— И уже голосом, полным решимости и парадности, громко скомандовал: — Пошел брашпиль!

И тотчас же маленький шатун лебедки забегал по такому же маленькому маховичку, заскрежетали давно не работавшие зубчатки, и медленно заворочался барабан, заглатывая звенья якорной цепи. Напрягаясь и вздрагивая, цепь едва заметно ползла, оставляя на палубе красновато-кровавый от ржавчины след. Это движение завораживало, приковывало взор, и Мария не сразу увидела, что так же, как цепь, сдвинулся с места берег и теперь сползал по левому борту к корме.

Якорь был отдан когда-то на середине реки. Подтягиваясь к нему сейчас, «Аскольд» разворачивался носом на чистую воду. А брашпиль уже выбирал мокрые смычки цепи, обросшие темно-зеленой плесенью водорослей. И уже не ржавчина, а скользкая влага и ряска грязнили палубу.

Якорь показался из воды бесформенной глыбой: и шток его, и веретено, и лапы были густо облеплены илом, ракушками, побуревшими к осени куширями. От этой глыбы отваливались и шумно плюхались в воду пудовые ломти грунта. Боцман, перегнувшись через борт, выругался и затем неуверенно крикнул на мостик, что якорь чист.

Савелий Иванович подошел к машинному телеграфу. Несколько секунд собирался с духом, прежде чем рывком перевести рукоятку на «малый вперед».

В глубине корабля что-то зазвонило, стрелка телеграфа отрепетовала команду. «Аскольд» вздрогнул — и Марии почудилось, будто судно расправило плечи. Под кормой шумела вода. Из раструбов вентилятора доносилось натужное всхлипывание машины.

— Право на борт!

Жив «Аскольд», жив! Берег, у которого несколько лет он стоял, заметно отодвигался. Без «Аскольда» тот берег казался непривычно пустым и низким. А слева, совсем близко, теперь проплывала мимо херсонская набережная. Горожане, привыкшие к одичалости Кошевой, глазели изумленно на движущийся корабль.

Интересно, виден ли из окон уисполкома порт? И «Аскольд»? Может быть, дать гудок? Пусть знают все: «Аскольд» готов следовать всюду, куда прикажет

революция... Бывают минуты, когда понятие счастья — в общем-то мало определенное — приобретает конкретное и завершенное выражение. Пусть не громкое, пусть быстротечное, но зато удовлетворяющее человека сполна. В пустыне это кружка воды. В студеном завьюженном поле — теплый приют. Для потерпевших кораблекрушение — берег. И еще — счастье от совершенной работы, от достигнутой цели. Именно его ощутила Мария от сознания, что справилась с поручением Добронравова. Даже почувствовала усталость, ту приятную опустошенность, что наступает обычно после тяжелого труда, по окончании нелегкого дела.

Она догадывалась, что так же счастливы сейчас и Савелий Иванович, и штурман, и, наверное, вся команда. Быть может, даже больше счастливы, чем она: от близкой встречи с морем, которое для каждого из них — и жизнь, и призвание.

На рейде-плесе опробовали машину на средних и полных режимах, на заднем ходу.

Днепр был пустынен. Лишь кое-где из воды торчали мачты, рубки и трубы затопленных пароходов. А дальше вода, окаймленная камышами, уходила к нечеткому горизонту и там упиралась в низкую полосу плавней да в синий, загустевший небосвод. Эта синева создавала впечатление, будто сразу же за плавнями начинается море... Вверх по течению небо блекло, словно его разбавляли отсветы желтоватых круч высокого правого берега. На этих кручах, на самом краю окоема, белели хаты Киндийки. Во всем окружающем бросалось в глаза столько неподвижности, столько застывшей первозданности, что Марии порою казалось, будто и вода за эти годы слежалась и теперь неохотно, с трудом раздвигается перед «Аскольдом».

— Станем у Одесского причала,— сказал Савелий Иванович штурману. Одесским назывался в обиходе причал, у которого швартовался в былые времена рейсовый из Одессы.

Пока швартовались, Мария все время поглядывала на спуск Воронцовской: не покажется ли Добронравов? Ей было немного обидно, что никто не приходит разделить торжество экипажа, поблагодарить моряков, порадоваться вместе с ними. Неужели не видели пароход на рейде? Или в уисполкоме заняты более важны-

ми делами? Но разве восстановление «Аскольда» — событие такое уж малое?.. Занятая все минувшие дни одною-единственною заботой, она не могла допустить, что первый выход «Аскольда» останется незамеченным, не взбудоражит и не взволнует не только исполкомовцев, но и весь город. А может, Добронравов нарочно не хочет привлекать внимание горожан к «Аскольду»? Рейс ведь предстоит секретный!..

Подобных волнений, видимо, не знал капитан. Когда был заведен последний швартов, он с довольной улыбкой, с какою делал сегодня все, обернулся к Марии:

— Что ж, можно идти к начальству. Докладывать о готовности к рейсу.

10

В этот вечер открывался уездный Чрезвычайный съезд Советов, и Мария с Савелием Ивановичем направилась к бывшему Театру миниатюр.

Сулименко, неделю назад вызвавший Марию в уисполком, дежурил у входа в театр. Он узнал ее и пропустил обоих.

Мария и Савелий Иванович с трудом протиснулись в зал, который гремел аплодисментами. Добронравов стоял на сцене и, улыбаясь, аплодировал вместе со всеми.

— Что случилось? — спросила Мария у широкоплечего парня в потертом бушлате.

— Наши части заняли Скадовск, Мелитополь и село Перекоп.

И Мария тоже захлопала в ладоши, хотя общий радостный шум уже начинал постепенно стихать.

Добронравов поднял руку и, когда в зале воцарилась тишина, произнес:

— Товарищи! Пятимесячное нахождение Херсона в полосе фронта не позволило сделать необходимый запас топлива на зиму. Город постигла топливная катастрофа, быстрая ликвидация которой возможна лишь путем организации массовых заготовок, с привлечением всего населения. Поэтому уездный исполком постановил: все население Херсона обоего пола, в возрасте

от шестнадцати до пятидесяти лет, мобилизовать для работ по добыче топлива на три дня. Мобилизованными считаются также все командировочные, находящиеся в Херсоне, и бойцы Красной Армии, приехавшие домой на побывку. Каждый, кто уклонится от мобилизации, будет считаться врагом революции. В плавни, товарищи! За камышом!

Снова делегаты съезда аплодировали, а Добронравов, призывая к тишине, продолжал:

— На обсуждение съезда выносятся следующие вопросы: текущий момент; доклад комитета помощи больным и раненым красноармейцам; доклад комитета помощи фронту; о топливе; о праздновании Октябрьской годовщины; выборы делегатов на губернский съезд Советов. Делегаты, избранные на губсъезд, должны уже завтра выехать в Николаев. В связи с тяжелым топливным положением предлагаю резко сократить всю ту декоративную часть, которая сопутствует открытиям съездов, и ограничиться обсуждением лишь самых важнейших докладов.

Предложение председателя уисполкома было принято единогласно. Добронравов сразу же, без паузы перешел к первому вопросу повестки: к текущему моменту. Зал слушал внимательно и напряженно. Лишь время от времени возникал легкий одобрительный гул и на лицах делегатов появлялись довольные улыбки. А радоваться было чему. Южный белогвардейский фронт, по сути, распался, бои шли с отдельными группировками врага в районах Берислава и Никополя, за Мелитополем. Части Красной Армии, овладев Скадовском и Хорлами, преследовали отступающего противника на побережье. Главные ударные силы Врангеля были прочно блокированы в Крыму. Радовали события и на Восточном фронте. Еще две недели назад была освобождена Чита. Наступление наших войск продолжалось, и накануне съезда пришло сообщение, что взят в плен сам адмирал Колчак... Заключен мир с Польшей и Финляндией. Мощные революционные выступления пролетариата в Германии, Италии, Англии сотрясают старый буржуазный мир.

— Таким образом, все говорит о том,— заключил Добронравов,— что революция в нашей стране победила окончательно и бесповоротно!

Он говорил не более двадцати минут, но настроение в зале заметно приподнялось. После председателя уисполкома один за другим выступали делегаты от волостей — Снегиревской, Белозерской, Ново-Воронцовской... Они одобряли «текущий момент» и докладывали съезду, сколько десятин земли засеяно в каждой волости озимыми. И опять в зале то и дело вспыхивали аплодисменты. Становилось ясно, что мирная жизнь медленно, но уверенно вступала в свои права.

Это впечатление еще больше усилилось, когда на трибуну стали подниматься делегаты от городских районов Херсона: Забалко-Сухарницкого и Военно-Мельничного. Да, город оживал. Уже работали первые советские предприятия — часовая мастерская и прачечная.

Готовились к открытию гостиниц «Астория» и «Европейская», городского театра, которому присвоено имя наркома Луначарского. Театр обещал порадовать зрителей революционными новинками — спектаклями «Борьба» и «Гибель Надежды». А пока в зале театра читалась для населения массовая лекция «Три казни: Карл I, Людовик XVI, Николай II». В связи с наступлением мирного времени Педагогический институт продлил прием на все отделения и на все курсы.

Председатель опродкома заявил, что херсонские дети — от года до шестнадцати лет — получат к Октябрьскому празднику подарок: по полфунта сахару и четверти фунта мыла. Он особо подчеркнул, что и сахар и мыло будут выдаваться бесплатно и чистым весом.

Мария представляла себе и херсонских полуголодных детишек, и город, к которому успела привыкнуть. Сумрачный, отощавший, промерзший за несколько военных зим. Дома с закопченными от «буржуек» стенами и глухими окнами, заткнутыми чем попало. Мостовые, поросшие бурьяном, покрытые пылью, навозом, листьями — вровень с тротуарами. Сухую ржавую труху в колонках водопровода. И четкую поступь ночных патрулей под такими же безмолвными, как порт, как заводы, как улицы, звездами... Город возвращался к жизни медленно, судорожно. В глаза бросалась каждая задымившая труба. Но все это было пока не для того, чтобы жить, а только — чтобы не умереть. Все тепло Херсон отдавал красноармейским госпиталям. Все силы и трудовые руки — красному фронту. Всю стойкость и

мужество—борьбе с разрухой, голодом, бандами. Местная газета «Известия», выходившая то на коричневой, то на синей и лишь изредка на белой бумаге, печатала почти ежедневно рядом с урезанными нормами продпайков отчеты Ревтрибунала, сообщавшие о конце еще одной банды какого-нибудь Петра Владыки...

И вот наконец Херсон становится на ноги — решимостью и трудом семидесяти пяти тысяч жителей города.

Из раздумий Марию вывела тишина. Председатель опродкома продолжал докладывать, сколько пудов муки, сахару, постного масла завезено в город. Она не расслышала цифр, но по напряженному молчанию в зале догадалась, что мало, очень мало. Херсон, ободренный победами над Врангелем, горящий желанием залечить свои недуги, вновь оставался на зиму на голодном пайке. Снова тянуть до весны... А что сулит ему будущий, 1921 год?

Добронравов о чем-то пошептался в президиуме, затем поднялся и внезапно объявил, что слово предоставляется посланцу крымских повстанцев товарищу Жукову, который, рискуя жизнью, с трудом добрался сюда по рыбацким лиманам и косам, дабы передать от бойцов 3-го Симферопольского повстанческого полка воззвание к Красной Армии и ко всем трудящимся.

Пожилой, худощавый, с седою прядью волос над смуглым лицом, Жуков, стоя на авансцене, горячо аплодировал вместе со всеми: то ли своим товарищам, оставшимся в тылу у врага, то ли делегатам съезда, то ли чему-то более высокому и значимому, нежели собственная судьба.

— Товарищи! Крымский пролетариат задыхается в тисках белого террора. Сотни рабочих повешены, бессчетное число наших товарищей расстреляно и замучено. Враг, чувствуя свой близкий конец, лютует. Банды Врангеля, Слащева и Кутепова превзошли все зверства, ранее совершенные белыми!

Да, как ни трудно в Херсоне, в Крыму во сто крат труднее. И люди в зале примолкли, словно почувствовав, что мужество, с которым брались они за восстановление хозяйства, все же не может сравняться с мужеством тех, кто еще дрался с врагом. А Жуков, зажав в кулаке белогвардейскую газетенку «Царь Колокол»

и потрясая ею как доказательством, рассказывал о том, как белое крымское правительство торопливо распродает иностранным фирмам сырье, хлеб, подвижной состав, оборудование заводов и мастерских.

Повстанцы, заняв при помощи татар-бедняков горные проселки и тропы, не дают врагу ни минуты покоя: нападают на патрули и обозы, на карательные отряды, на мелкие гарнизоны. Рабочие Симферополя, Феодосии, Керчи срывают движение поездов, саботируют заказы врангелевцев. Севастопольцы выводят из строя суда, берущие груз в зарубежные порты. Все население Крыма с нетерпением ожидает прихода Красной Армии.

— Товарищи! Крымская повстанческая Красная Армия шлет вам свое братское пожелание, чтобы совместными усилиями скорее покончить с белогадиной. Недалек тот час, когда над Крымом будет развеваться красное знамя труда!

«Господи, да ведь это же прямо касается нас, аскольдовцев!» — встрепенулась Мария. На клочке бумаги она торопливо написала: «Товарищ Добронравов, «Аскольд» к рейсу готов. Мария». Видела, как записка поплыла от ряда к ряду, от спины к спине, как ее передали в президиум.

Жуков окончил выступление, и тотчас же в первых рядах кто-то несмело, срывающимся голосом запел «Интернационал». Первая строка прозвучала робко, но зал поднялся, подхватив на лету слова и мелодию гимна. И стены маленького театра словно начали раздвигаться — до пределов уезда, губернии, всей страны.

Когда пение смолкло, Добронравов, обводя взглядом зал, безуспешно отыскивая Марию среди делегатов, объявил:

— Товарищ Мария, зайдите в комнату за сценой.

Она схватила за рукав Савелия Ивановича и вместе с ним стала протискиваться к выходу.

Председатель уисполкома познакомил их с Воронихиным — командиром и комиссаром Херсонского военного порта и с Жуковым. Херсонского военного порта как такового, по сути, не существовало, и Воронихин с Караульной ротой выполнял задания Чека на территории, прилегающей к Днепру и Кошевой, на островах и в затонах, в прибрежных селах. Он только что

вернулся со взморья, и Мария видела его впервые, хотя именно он, Воронихин, должен был бы руководить подготовкой «Аскольда». Сейчас ему поручалась погрузка на пароход оружия, а утром Караульная рота уходила в плавни, чтобы обеспечить безопасную заготовку топлива: в плавнях могли появиться отдельные группы белых, разгромленных под Скадовском.

Пожимая руку Марии, Воронихин шутливо и в то же время немного ревниво спросил:

— Так это вы, значит, невольный мой заместитель в порту?

Добронравов, спешивший, видимо, вернуться в зал, не дал времени ей ответить.

— Товарищ Жуков пойдет с вами, проводником. Или, как там у вас, моряков, называется, лоцманом. Он все знает и прибудет на судно, как только закончится заседание съезда. Радист — на «Аскольде»?

— Да, колдует над рацией,— доложил Савелий Иванович.

— Даем вам охрану: четырех человек с двумя пулеметами. Но это на крайний случай: сами понимаете, проскочить надо тихо и незаметно.

Уже потом, когда все было, хотя и накоротке, оговорено, Добронравов отозвал Марию в сторонку.

— Совесть меня тревожит,— признался он смущенно.— Думал, на этом твоя задача и кончится, а приходится тебя посылать в море. Рассчитывал я тут на одного, да только он оказался не в меру горяч, опрометчив. Одним словом, кавалерист, рубит всегда с плеча. А в рейсе таком нужны осторожность и выдержка. Вот и получается: не женское дело, а обойтись без тебя, куда ни кинь, не могу.

— Ты становишься сентиментальным,— мягко промолвила она, не то упрекая, не то жалея председателя уисполкома.— Может, стареешь? Так вроде рано еще...

— На старость у меня не останется времени,— както невесело отшутился он.— А насчет сентиментальности... Пока вертелся в боях, заботился не о многом. А отошла маленько земля от войны, осмотрелся — и о каждом душа болит. О детишках, о женщинах наших... Сама слышала: ни хлеба в достатке, ни топлива, ни одежды...— Он помолчал, о чем-то мучительно раздумывая, затем снова взглянул на Марию. — Тебе вот

тоже: ребятишек бы в школе учить, а не лезть к черту в зубы! Понимаю, а ничего изменить не могу. Потому на сердце и муторно.

— Тебя ждут в зале,—напомнила осторожно Мария. Ей не хотелось, чтобы люди, собравшиеся на съезд, заметили грустную задумчивость председателя, утомленность. Но чтобы не обидеть его, тут же добавила: — Да и нам пора.

— Ну что ж, в добрый час. Не прощаюсь: еще забегу на судно.

Из театра вышли вместе с Воронихиным. Командир порта то и дело оглядывался: по всему было видно, с большей охотой он остался бы сейчас в зале, на заседании съезда. Но служба есть служба, и Воронихин только вздохнул.

За городом, куда-то за степь опускалось солнце. Освещенные узкими лучами его, окна и стены домов, заборы, афишные тумбы отсвечивали красновато-золотистым отливом, и чудилось, будто город наполнен пестрыми красками осени, как и плавни. В какой-то миг Херсон показался Марии удивительно обжитым и уютным, и стало грустно от мысли, что сегодня ночью придется его покинуть и уйти в неизвестность, навстречу опасностям, которые трудно предугадать.

11

Погрузку закончили часам к четырем утра... Всю ночь из города в порт подъезжали подводы с винтовками, с ящиками гранат и патронов. Отдельно доставляли взрывчатку.

Район причала был оцеплен. Бойцы Караульной роты сносили оружие на палубу «Аскольда» и здесь под руководством Гаркуши спускали в трюм. Пулеметы передавали бережно, как детей.

Нужно было все разместить продуманно: разгружаться в Крыму предстояло в скрытой, пустынной бухте, в рыбацкие шаланды и шлюпки, так как вплотную к берегу из-за отмелей «Аскольд» подойти не мог. А разгрузиться к тому же следовало как можно быстрее, в темное время суток, и с рассветом снова быть в море, подальше от бухты, чтобы никто не смог догадаться, откуда, куда и зачем идет пароход, если даже его

обнаружат. Помня об этом, Савелий Иванович и Воронихин сами распоряжались укладкой оружия в трюме.

Мария вглядывалась в лица моряков. Матросы работали молча, сосредоточенно, без той непринужденной веселости, что царила на судне еще несколько часов назад. Видимо, груз, который принимал пароход, настраивал их на суровый лад. Лишь боцман покрикивал попрежнему бойко, порой не стесняясь в выборе слов. Матросы лениво, скорей по привычке, огрызались, зато бойцы Караульной роты глазели на Гаркушу со страхом и восхищением. Он это чувствовал и потому подбирал выражения все похлеще да позабористей. И только появление женщины охлаждало на какое-то время боцманский пыл.

Штурман, запершись в рубке, колдовал над картами: прокладывал будущий путь, рассчитывал курсы и точки поворотов. Когда Мария вошла к нему, он пожаловался на то, что машинисты-черти не берутся угадать, какой ход сможет развить «Аскольд», хотя и клянутся, что не свыше шести узлов, а он, штурман, не зная скорости, не может довести до конца путевые расчеты.

Рядом со штурманской рубкой, за переборкой, насвистывал что-то радист. Штурман косился в ту сторону, потом не выдержал, сказал:

— Весь вечер свистит... Я уж стучал ему, просил прекратить, а он смеется. «Мы, говорит, латыши, не можем без песни. Я, говорит, даже во время боя насвистываю. Привычка». Послал нам бог свистуна-самоучку...

После полуночи на судно прибыли Добронравов и Жуков. Осунувшийся, усталый, с синеватыми тенями под глазами, председатель уисполкома тяжело опустился в кресло, едва вошел в кают-компанию. Воронихин, опередив Савелия Ивановича и щелкнув при этом каблуками, доложил о том, как идет погрузка. Добронравов кивнул в ответ, затем встряхнул головой, словно сбрасывая усталость, произнес:

— Ладно, давайте подумаем вместе с товарищем Жуковым о возможных осложнениях в рейсе.

Разговор затянулся надолго. Он продолжался бы, наверное, до утра, если б не боцман Гаркуша. Тот вошел, откашлявшись, сообщил, что погрузка окончена, и попросил у капитана разрешения закрывать трюм. И все как-то сразу примолкли, поняв, что подготовка заверше-

на, что наступило время выхода в море — та самая минута, которой ждали всю минувшую неделю, но которая почему-то казалась до сих пор все же далекой.

— Ну что ж...— вопросительно посмотрел на председателя уисполкома Савелий Иванович.— Есть резон уходить из Херсона ночью, пока темно. Меньше глаз — меньше пересудов.

— А не заблудитесь в гирле? — поинтересовался Добронравов. — На пути сейчас — ни бакена, ни огонька.

— Проскочим. В крайнем случае, отстоимся в протоке на якоре, а с рассветом двинемся дальше, к лиману.

Все произошло гораздо проще и будничнее, нежели ожидала Мария. Крепко пожали руки. Убрали за Добронравовым и Воронихиным сходни. Без шума — Мария даже не расслышала команд — отдали швартовы, и «Аскольд» медленно, задним ходом, отошел от причала. Городской берег, почти без огней в этот предутренний час, как-то уж слишком быстро отодвинулся в темень.

Развернувшись на рейде, пароход едва уловимо, наощупь двинулся вниз по течению. Это движение Мария ощутила по зябкой прохладе, которая плотно прижала к телу одежду. Савелий Иванович и штурман пристально всматривались во мрак, но женщина не могла представить, что способны они там распознать. Сама она давно потеряла всякие ориентиры. Слева сплошной чернотой лежали — это она еще знала — плавни. Но такая же чернота высилась и впереди, и порою казалось, что темные купы деревьев вот-вот обрушатся на «Аскольд» и его форштевень с хрустом и скрежетом врежется в камыши. Однако проходили минуты, а пароход по-прежнему, всхлипывая машиной, пробирался вперед, словно темнота, окружившая судно, двигалась вместе с ним.

Чтобы отвлечься от беспокойных дум, Мария подошла к Жукову, стоявшему тут же, на мостике.

— Завтра вам нужно будет выступить перед экипажем. Чтобы все знали, зачем и куда мы идем.

— Хорошо,— коротко согласился крымчанин.

Савелий Иванович негромко скомандовал «Право руля!», и Мария не сразу поняла, то ли палуба под ногами поплыла куда-то в сторону, то ли темень начала

оборачиваться вокруг корабля. Низкие звезды, мерцавшие раньше прямо перед глазами, сползали к левому борту. А вместо них над полубаком возникла внезапно громада берега — глухая, неподвижная, монолитная. Она надвигалась на судно стремительно, неотвратимо — неясными контурами и глыбами темноты. «Куда же они? — оцепенела женщина.— Может, вмешаться, пока не поздно? Остановить пароход?» Судорожно вцепилась в фальшборт, ожидая удара «Аскольда» о гряду. Но в самый последний миг стена разомкнулась, раздвоилась, раздвинулась, обнажив далеко впереди, в глубине расселины, более светлую, нежели берег, полоску неба. И хоть полоска тут же исчезла за каким-то новым поворотом, теперь уже была не одна стена деревьев, а две, и «Аскольд» вошел между ними, словно в ущелье. «Протока!» — радостно догадалась Мария и облегченно вздохнула.

— Может, подсветим прожектором? — спокойно предложил штурман. И так же спокойно ответил Савелий Иванович:

— Не стоит: ослепит — потом совсем ни черта не увидим.

Позади, с обоих бортов, появился неясный шум. Он то нарастал и тогда слышался совсем рядом, то стихал, удаляясь, точно кто-то на берегу пытался и никак не мог догнать пароход. Мария насторожилась. Прошла на крыло мостика, приложила к уху ладонь, вслушиваясь. Заметив ее жест, штурман успокаивающе пояснил:

— Камыши шумят. Волна, которую тянет «Аскольд» за собой, раскачивает их.— И добавил: — Шли бы спать... Кто знает, удастся ли отдохнуть потом!

— Да, пожалуй...

Внутри корабля было все по-иному, нежели на мостике, где ночь, искаженные контуры берега и звезды над головою создавали впечатление безмерной затерянности среди миров. Здесь, в коридорах, слышались натруженные вздохи машины, стук закрываемых топок, гудение насосов и донок. Под ногами шипели какие-то трубопроводы, сверху то и дело дробно постукивали, словно гонялись одна за другой, шестеренки рулевого привода. И все это — в ярком после ночной темноты свете ламп, в конвульсивном подрагивании переборок и палуб, в разноголосом поскрипывании дверей и тра-

пов. Здесь чувствовались в полной мере напряженная жизнь корабля, его пробудившееся упорство, та тяжесть, с какою он, застоявшись у берега, теперь разминал свои старческие суставы.

В каюте наскоро разделась и с наслаждением вытянулась на койке... Чем глубже погружалась в дрему, тем равномернее становился корабельный гул. Он не мешал — пожалуй, даже убаюкивал.

Мелькали перед глазами, сливаясь, обрывки прожитых долгих суток: заседание съезда, погрузка, черная ночь над мостиком... Херсон отдалялся все больше и больше — в прошлое. Теперь ее жизнь — корабельный гул и шелест воды за бортом. Надолго. Может быть, навсегда... Потом она увидела черниговские леса и луга над Десною, влажные от росы. Печальную и застенчивую улыбку мамы. И старенькое пианино, на котором играла перед отъездом... Но это был уже сон.

Проснулась, не ведая, поздно уже или рано. Приоткрыла крышку иллюминатора. За стеклом широко расстилалась вода — сероватая, с легкой зыбью. Тут и там из нее торчали, как островки, пожухлые купы куги, камыша и рогоз. Вдали виднелся высокий глинистый берег, розоватый от раннего солнца. От него уходили за корму «Аскольда», в марево, плавни. «Значит, уже в лимане, проскочили протоку».

Она долго и старательно причесывалась. Подумала, что наверху, наверное, прохладно, и потеплее оделась.

На мостике штурман был один, да еще в рубке маячил у штурвала с сонным лицом вахтенный рулевой. Отсюда открывались взору не только степной обрывистый берег, тянувшийся справа насколько хватало глаз, но и песчаная равнина, отделяющая лиман от моря. Она была такой пологой и низкой, что деревья и курени хуторов, казалось, торчали прямо из воды. За равниной, пока только в четкости горизонта, угадывалось щедрою и далекою синевою море.

День, несмотря на прохладу утра, обещал быть теплым, безветренным. Высокие обрывки облаков, подкрашенные румянами солнца, придавали и небу, и берегу, и лиману какую-то пасхально-сентиментальную, слащавую умиротворенность. На этих облаках не хватало только сахарной пудры. Вода у бортов «Аскольда»

шумела мерно и однотонно, как колыбельная. Не пугаясь ни этого шума, ни судна, покоились на ленивой зыби сытые, отяжелевшие чайки. И лишь проржавевшие шары-корпуса буев, оставшихся кое-где на фарватере, да пароходные трубы, торчащие как обелиски, возвратили мысли Марии к суровой действительности.

Иное настроение владело, видимо, штурманом. Он словно не замечал зримых примет войны и с нескрываемым восторгом любовался простором, синим горизонтом вдали за косой, ходом «Аскольда». В них воплощалось, должно быть, все то, о чем тосковал он долгие годы у опостылевшего берега Кошевой.

— Здесь что, были бои? — спросила Мария, кивнув на трубы и обломки мачт.

— Бои? Ах, это...— проследил моряк за ее взглядом.— Это на минах.

— И что же мины... есть до сих пор?

— Кто знает... Смотрю вот. Если мина на плаву — замечу. Ну а под водою... Волков бояться — в лес не ходить.— Ему явно не хотелось сейчас разговаривать ни о минах, ни о войне. И действительно, помолчав, штурман вздохнул неизвестно чему.— Красотища-то какая, а? Люблю рассветные вахты! Море, небо, а ты между ними. Одиночество. И раздумья — обо всем на свете... Часто жалею, что я не поэт и не философ: в такие часы человек способен придумать самые оптимистические истины.

— Насколько я понимаю,— заметила Мария,— истины не придумывают, а познают.

— Кто знает,— повторил штурман свою излюбленную присказку.— Истина — не то, что истинно, а то, во что мы поверили, в чем убедили нас. А людям можно внушить, согласитесь, всякую чертовщину, ибо в человеческих отношениях все условно. Да и не только в отношениях... Дарвин, к примеру, утверждал, что мы происходим от обезьяны. Теперь это мнение — общепринято. Но с таким же успехом великий натуралист мог бы доказать, что наши прародители — летучие мыши, поскольку и обезьяна и мышь имеют еще более древнее первородство. Все начиналось в жизни с нуля, и Дарвин имел возможность выбрать в длительной эволюции любой проходной вариант, чтобы выдать его за

истину. Ну, скажем, объявить, будто мы происходим от птиц, утративших способность летать. Я бы лично в это поверил охотно А желание человека верить — вот вам и условие для того, чтобы даже пошлость или банальность обрядить в тогу истины. С венчиком над головою. Так-то!

— В естественных науках вы разбираетесь слишком уж глубоко,— насмешливо промолвила Мария.— Скажите, во время рассветных вахт, полных дорогого вам созерцательного одиночества, вы никогда не задумывались над тем, что появилось раньше: яйцо или курица?

— Нет, не задумывался, ибо знаю: ни то, ни другое. Первым появился петух, чтобы прокукарекать. С тех пор на святой Руси любят и почитают юродивых. Не замечали?

— Увы, замечала. Как и то, что юродивые происходят, как правило, от доморощенных проповедников. Которые любят мудрствовать, но ленятся при этом учиться... Помню, по соседству с нами жил отрок, готовился стать попом. Пытался математически обосновать, почему бог един во трех лицах. За это его, как ни странно, прогнали из семинарии.

— И кем же он стал? — покосился штурман.—Алкоголиком? Конокрадом? Или сбежал на Аляску застолбить поскорее участок?

— Он стал тюремным провокатором. Ибо,— передразнила женщина моряка, — в поисках собственных истин тоже пришел к выводу, что в человеческих отношениях все условно.

Штурман насупился, обиженно примолк, а Мария после паузы негромко добавила:

— Как видите, легко доказать, что человек происходит и от шакала. Сами люди порой дают для подобного повод.

— Вы хотите, чтобы я обязательно происходил от обезьяны? — жестко, однако не повышая голоса, спросил он. И Мария внезапно рассмеялась, дружелюбно взглянула на моряка.

— Во всяком случае, не от кузнечика, стрекочущего, едва пригреет солнышко... Все-таки лучше от птиц. Однако не утративших способность летать.

Солнце за кормой поднималось все выше, сливая плавни позади парохода в синеватую зубчатую кайму.

Утренняя дымка над береговыми крутоярами рассеивалась, и степь вдали раздвигалась, обнажая едва приметные косогоры, порыжевшие от высохших трав и стерни. Над белыми хатами хуторов тянулись к небу редкие тополя, а чуть поодаль стояли богатыри ветряки, расставив руки навстречу солнцу, будто хотели обнять весь мир, до самого горизонта.

Под левым, равнинным берегом высветлились отмели, и вода над ними янтарно просвечивалась, уходя затем в приглубь холодными зеленоватыми пластами. Деревья в той стороне, до поры облетевшие под жестокими черноморскими ветрами, казались теперь прозрачными, сотканными из воздуха. Было странно, что они вообще уцелели, что ветры, скользившие по пескам без преград, не унесли и не развеяли их вместе с пылью... Но сейчас ветры спали; равнина лежала на меже лимана и моря плоская, унылая, как распластанный парус. Мария представила, как серые и синие волны упрямо накатываются на нее с разных сторон, накатываются столетиями, мечтая в конце концов соединиться. Однако не соединяются; и этот песчаный клин, вбитый Тавридой на много верст в царство воды и зыби, постепенно сужался, отодвигался впереди парохода все дальше от крестьянских степных берегов, словно хотел дать возможность лиману вздохнуть посвободнее, повольготней и на полном дыхании испить новых сил из широкого Бугского устья.

— Я должен бы на вас обидеться,— сказал неожиданно штурман, и Мария вздрогнула от его голоса.— Должен бы, но не могу...

Отводя глаза, видимо чтобы не потерять внезапно решимости, он собирался сказать еще что-то, но в это время послышались шаги на трапе, и моряк с досадой умолк. На мостик поднялись капитан и матрос, пришедший сменить рулевого. Савелий Иванович выглядел отдохнувшим, бодрым, хотя на его небритых щеках серебристо поблескивала жесткая щетинка. Приветливо поздоровавшись, он поднял бинокль и деловито, медлительно, как-то по-хозяйски осмотрел лиман. Должно быть, осмотром остался доволен, потому что тут же обернулся к штурману и мягко, по-отечески заботливо предложил:

— Идите-ка отдыхать... Очаков когда минем?

— В седьмом часу вечера, в сумерках. А в девять, уже в темноте, повернем на юг.

Внизу на палубе один за другим появлялись моряки, свободные от вахты. Потягивались, щурились на ясное небо и дробные блики на воде, показывали на далекие рыбацкие хутора: наверное, вспоминали былые плавания, узнавали не однажды виденные места.

По-прежнему шелестела волна за бортами, и медленно плыли назад, мимо «Аскольда», берега лимана, освещенные ярким, хоть и не теплым солнцем поздней таврийской осени.

12

Весь второй день плыли пустынным морем, избегая рейсовых привычных дорог. На этих дорогах сейчас наверняка никого бы не встретили, но все же решили не рисковать.

«Аскольд» шел на юг за попутной волной, затерянный в синеве и разливе солнца. Плавно покачивались мачты, поскрипывали тали шлюпбалок, мерно сопела машина — и все это вместе с запахом моря, влажного дерева палуб и дыма создавало порой впечатление неподвижности, дремы, покоя. Море лежало вокруг густое, неторопливое, будто замкнутое ободом горизонта. Его однообразную синеву лишь изредка нарушали белый гребень волны, мелькнувший стремительно и пугливо, да холодная прозелень меж валов — мгновенная, ускользающая, непрочная: тень луча. Небо, глубокое и пустое, тоже казалось отсветом моря, только более блеклым, разбавленным и вытравленным сиянием солнца. В этом небе повисали надолго, не тая, клочки пароходного дыма.

На дым с досадой поглядывал Савелий Иванович. Он вызвал на мостик Яремчука, недовольно кивнул на темные клубы за кормою:

— По этим чубам, наверное, нас от Босфора видно.

Машинист беспомощно развел руками:

— Уголь — сами знаете: не кардифф... Слава богу, вообще горит.

Мария пристроилась позади рубки, на шлюпочной палубе. Ветер не залетал сюда, и потому солнце припекало почти по-летнему; из небольшого люка,

расположенного прямо над машиной, тоже тянуло из-под раскрытых стеклянных створок теплом, пахнущим разогретым металлом и маслом

Горячий воздух плотно держался у дымовой трубы. Шлюпочная палуба, пожалуй, была самым спокойным уголком на «Аскольде». Пригревшись, Мария бездумно глядела на море, на горизонт, который и час, и два, и четыре чудился неподвижным и лишь едва заметно покачивался следом за мачтами. Не хотелось мыслями возвращаться ни во вчерашнее, ни к завтрашнему. Херсон как-то сам по себе отодвинулся в прошлое — такое же далекое, как родная Черниговщина и годы гимназической юности. Он стал воспоминанием. Должно быть, однообразие плавания сместило в ощущении времени какие-то вехи, и потому казалось, будто море колышется за бортом уже многие месяцы, быть может, даже всю жизнь: с тех пор как Мария помнит себя.

Ничто так не скрадывает времени, как однообразие. Скучные дни пролетают, как тени. Помнится, ей, Марии, отец иногда говорил: «Я сегодня прожил не день, а только тень от него...» Вчера был день. Вчера ей все было в новинку: и водная ширь, и движение парохода, и работа штурмана — почти колдовство. А сегодня... Время вдруг потянулось так же бесконечно, как море: без берегов, без примет, без чувств. Небо и волны — волны и небо. Годы, годы и годы, хотя штурман называет их милями. Горизонт, который впереди убегает, а сзади тащится за тобой. Нет, она не смогла бы быть моряком. Конечно, у моряков случаются праздники: новые гавани, встречи, знакомства — сразу с целыми странами. Но между моряцкими праздниками — годы-мили. Волны и небо — небо и волны. И надрывные крики чаек, в которых, по преданиям, поселились души погибших. А есть ведь и такие дали, где даже чаек не встретишь. Вечность. Но оставаться с вечностью наедине — тоже надоедает.

Она теперь лучше понимает моряков: и Савелия Ивановича, и штурмана, и Гаркушу... Море вырабатывает характер — замкнутый и раздумчивый. Но сама она, Мария, привыкла жить на людях, вместе с ними. В водовороте событий.

В этом водовороте встретила и того, кто стал ей другом и мужем. Их счастье было коротким: белогвар-

дейская пуля не пощадила их любви. И все же в тех днях, если их вспоминать, словно вместилось множество лет и несколько жизней. В них было, в каждой минуте, гораздо больше наполненности, нежели в скучных часах, а может быть, и неделях плавания. Волны и небо... Интересно, что она вспомнит потом об этом недвижимом горизонте?

Чтобы быть моряком, нужно, видимо, с детства любить одиночество. Создать в себе особый внутренний мир, способный восполнять постоянное отсутствие рядом людей и того берегового уклада жизни, который, окружая человека заботами и тревогами, тем самым вынуждает его к душевной активности и устремленности.

Наверное, природа для того и придумала штормы, чтобы моряки не впали совсем в созерцательность и сентиментальность.

А может, она не права? И рассуждает по-женски о чисто мужском призвании?

Штурман пробегал то и дело мимо нее к корме — туда, где на гакоборте был укреплен счетчик лага. От счетчика тянулся за пароходом линь с вертушкой на конце, которая отсчитывала пройденные мили. В рубку моряк возвращался так же поспешно, бормоча какие-то цифры, что-то складывая и умножая на ходу. Потом, очевидно покончив с расчетами, он подошел уже неторопливо к Марии, присел на выступ шлюпочного кильблока. Участливо поинтересовался:

— Не укачало? — И тут же, не ожидая ответа, добавил: — Погода балует вас: в конце осени не часто выпадает подобная акварель.

— Значит, нам повезло?

— Кто знает, — ответил штурман привычно и, спохватившись, смутился, заметив, как невольно улыбнулась Мария. — В плохую погоду легче проскочить незамеченными, но разгружаться на качке, конечно, труднее. Честно говоря, меня беспокоят перистые облачка впереди. Видите, похожие на коготки? Они по-латыни так и называются коготками: цирусы. Так вот, как бы эти облачка не накликали нам штормягу. Не тряхонуло бы нас!

— Это опасно? — как бы между прочим спросила она.

— Опасно не опасно, а радости мало. С такою машиной, как на «Аскольде», против хорошего шторма не выгребешь. Наболтаешься в море — по горло.

Марии трудно было представить, что это ровное сверкание, надоевшее ей, эта синяя гладь без единой приметинки до самого горизонта может вдруг ощетиниться, разъяриться. Конечно, она знала, что море бывает всяким: и спокойным, и ураганным. И все же, не видевшая моря иным, не таким, как сегодня, не могла вообразить свирепость валов, при которой «Аскольду» несдобровать. Нет, пусть лучше море будет унылым, однако ручным. Скучным, но добрым.

— Скажите, вы не грустите в море по берегу?

Моряк удивленно взглянул на нее, неопределенно пожал плечом:

— Смотря по какому... У меня еще не было в жизни берега, что привязывал бы намертво. А по Херсону — нет, не грущу. Знаете, все это время, пока мы стояли там, единственную радость доставляли порою... сны. Бывало, такое наснится, что и в мечте не придумаешь!.. А после проснешься утром, глянешь за грязное стекло иллюминатора — и удавиться охота. Нет, по берегу я не грущу.

— Ну, а раньше, до войны? — допытывалась Мария.— Неужели никогда не надоедала вода и вода без краю?

— А разве пашня не надоедает крестьянину? Врачу больные? Вечного нет ничего: все приедается, от всего в конце концов устаешь.

— И все-таки: если, как вы говорите, все приедается, за что же вы любите море? Не понимаю...

— Кто знает... Море не терпит обмана и лжи, здесь все в открытую.— Штурман осмотрелся вокруг, словно там, в море, хотел отыскать еще хоть одну причину своей привязанности.— Да к тому же я попросту люблю движение. Так сказать, страсть к перемене мест... Разве при нашем сером существовании этого недостаточно? В четырех стенах я мигом закис бы!

Мария молчала, о чем-то сосредоточенно раздумывая. Хмурилась. А моряк, украдкой поглядывая на нее, явно любовался женщиной: даже ее хмурость, видимо, нравилась ему.

— Вам не холодно? — спросил он.— Может быть, принести реглан?

Она отрицательно качнула головой и внезапно жестко сказала:

— Закис бы... Да вы и закисли! Как вода в бочке!

Штурман, не ожидавший резкости, растерянно вскинул брови, попытался было возразить, но Мария нетерпеливым жестом остановила его.

— Вы правы, людям опостылело многое: окопы, вши, война. А к смерти вообще невозможно привыкнуть. Но они продолжают драться, бороться, потому что знают, во имя чего! Мы вот здесь разглагольствуем, на солнышке нежимся, а там, в Крыму... Сколько погибло борцов, светлых сердец, а вы сидели в этой консервной банке и перебирали, как четки, свои размышления! Вы бы до сих пор кисли, если б не этот рейс.

Его глаза все больше суживались, пока наконец не стали холодными. Он смотрел мимо Марии, в море, словно не слыша ее. И только подрагивающий краешек рта выдавал его боль.

— За то, что вытащили из банки,— спасибо,— промолвил штурман глухо и отчужденно.— Я сидел в ней не по своей охоте. Ибо не виновен, что людям сейчас ничего не нужно, кроме патронов: ни кораблей, ни профессий, ни книг. Но все это временно. Хоть я и не большевик, понимаю: революция — вещь посложнее кавалерийской атаки. Мы все еще понадобимся ей, и каждый тогда начнет заниматься лишь делом, которое знает. Иначе страна превратится в сплошной всероссийский митинг, где будет избыток докладчиков и не будет творцов. Засим... не обессудьте, товарищ Мария, что из меня не получилось ни юнкера, ни буденновца.

Он уходил медленно, как-то сразу осунувшийся и сгорбившийся. Мария только сейчас увидела, что рукава его кителя много раз перештопаны на локтях, а флотские, без манжет, брюки давно износились и теперь свисали растрепанной бахромой на стоптанные, потерявшие цвет башмаки. «Зачем я так резко?— подумала с тоскою она.— Ведь и он, и Савелий Иванович, и Яремчук, который, кстати, член партии, сохранили судно в строю. Не будь «Аскольда», на чем бы доставили ныне оружие крымским повстанцам?»

Мария вспомнила, как машинист в один из вечеров шутливо рассказывал в кают-компании про их затвор-

ническое житье на «Аскольде». Корпус парохода старый, протекает, но судовые помпы, конечно, не работали, как и все механизмы. И вот капитан, штурман и он, Яремчук, поочередно, но ежедневно откачивали воду из трюмов вручную.

— За эти годы,— смеялся машинист,— наверное, перекачали всю Кошевую.

Помнится, боцман и кочегары подтрунивали тогда над троицей аскольдовцев, а она, Мария, с уважением глядела и на штурмана, и на машиниста, и на смущенного Савелия Ивановича: ведь все это они делали, забытые всеми, без жалования, без продовольствия, с одной-единственной печкой-времянкой на весь пароход. В этой печке жгли все, что могло гореть: коряги, выловленные в реке, камыш, корабельную шлюпку, пришедшую в негодность... Не всякий бы выдержал на их месте! Плюнул бы на пароход и ушел бы на берег, поближе к людям... В поведении моряков, сохранивших «Аскольд», есть что-то подвижническое. Или откачивать трюмы вручную — революцией не в зачет?

Зря погорячилась. Но и он-то хорош! Наболтал тут черт знает что: о сером существовании, о том, что лишь море — без обмана и лжи... Да, жизнь гнусная. Но разве не для того революция, чтобы эту жизнь изменить! Именно ради нее, новой и светлой, люди дерутся, не щадя ни крови, ни жизни. А он, штурман, только вздыхает да, криво посмеиваясь, поругивает все и вся. А что ты сделал, чтобы жизнь стала лучше? То-то же...

Логическое оправдание своего поступка не принесло, однако, ей облегчения. Чувство вины перед штурманом оставалось и тяготило. А море по-прежнему расстилалось, сверкая и переливаясь однообразными бликами, словно не хотело выпустить из этого однообразия ни пароход, ни мысли Марии.

Но как ни удалился «Аскольд» от берегов, отголосок борьбы, что кипела на них, долетел в конце концов и сюда... Радист протянул Марии клочок бумаги, пояснил:

— Радиоперехват. Из Севастополя радируют своим кораблям.

Белые предупреждали командиров судов о том, что из Херсона вышел в неизвестном направлении с грузом оружия пароход «Аскольд».

— Пронюхали, сволочи,— не сдержалась Мария.

— Да, и довольно быстро. Не пойму только, как сообщили им: по телеграфу, что ли?

Собрались на мостике на совет. Савелий Иванович был удручен известием. Штурман рассудительно успокаивал его:

— Куда мы идем, они не знают. Часа через три стемнеет, и тогда повернем к крымскому берегу. А ночью нас не обнаружат.

— Нам бы только сутки,— озабоченно вставил Жуков.— Завтра к вечеру оружие будет уже далеко, в горах.

С этой минуты время потянулось напряженно и медленно. Савелий Иванович, поднося к глазам бинокль, то и дело с тревогой осматривал даль. Да и Марии море уже не казалось однообразным и унылым, как прежде. Больше всего желала она сейчас, чтобы море оставалось таким же пустынным до темноты. А солнце, как назло, висело еще высоко, неподвижно, будто и не собиралось сегодня опускаться за горизонт.

13

Уже в темноте повернули к берегу. Савелий Иванович нервничал: впереди по курсу уменьшались глубины, а плыли по счислению: по расчетам. В иное время уже открылся бы огонь Тарханкутского маяка, по нему уточнили бы место «Аскольда». Но маяки не горели, и капитану приходилось полагаться лишь на собственный опыт да на точность и аккуратность штурмана.

Корабль тщательно затемнили. Всех, свободных от вахты, вызвали наверх, на полубаке выставили впередсмотрящих. Остальные матросы во главе с Гаркушей открывали трюм, заблаговременно готовились к выгрузке.

Вместе со всеми всматривался в темноту и Жуков.

— Должны разжечь четыре костра,— сообщил он морякам.— Под обрывом, чтобы виделись только с моря.

Главное · выйти бы к этому месту...

— Выйдем,— недовольно ответил штурман, явно задетый сомнениями капитана.—Весь путь шли, словно по ниточке.

Он обиженно умолк, но через несколько минут, уже другим тоном, сказал капитану:

— Схожу на корму, выберу лаг. Надо бы лотового выставить, пусть замеряет время от времени глубину.

Впереди мерцали чистые звезды, и Марии почему-то подумалось, что эти звезды — степные и светят уже над берегом. Словно отгадав ее мысли, Савелий Иванович крикнул негромко на полубак:

— Внимательнее смотреть!

Был десятый час ночи, когда наконец обнаружились четыре огня. Первым заметил их штурман. И хотя огни оказались не по курсу «Аскольда», а гораздо левее, он с вызовом и неприкрытой гордостью произнес:

— Что, сработано? Как в аптеке!

Повернули на огни и, уменьшив ход, стали медленно приближаться к берегу. Снизу то и дело долетали до мостика торопливые доклады лотового:

— Тридцать футов... Тридцать два... Двадцать шесть футов...

Савелий Иванович был настороже: лотовый, в темноте определявший марки-отметины на лот-лине наощупь да к тому же делавший тут же, на ходу, поправки на высоту борта, мог легко ошибиться. Поэтому капитан не отходил от телеграфа, готовый в любой миг застопорить машину.

По всем моряцким правилам полагалось бы якорь отдать немедленно. Но каждый лишний десяток метров, сокращавший расстояние между «Аскольдом» и берегом, сокращал тем самым и время будущей разгрузки. И только когда раздался испуганный возглас лотового: «Восемнадцать!» — Савелий Иванович рывком перевел рукоять телеграфа на «стоп».

В тишине, наступившей после того, как перестала работать машина, якорная цепь прогрохотала так громко и так внезапно, что Мария испугалась: не услышали бы враги. И сразу же «Аскольд» насторожился, замер, вслушиваясь в ночь. На баке и на юте застыли у пулеметов матросы из Караульной роты Херсонского военного порта.

Вслушивались все: с мостика, с палуб, с надстроек. И, наверное, не одной Марии показалось, что минула вечность, прежде чем различили они в мерном шуршании моря осторожный плеск весел.

— На судне! — окликнули глухо из темноты.
— Есть на судне!
— Сколько под килем глубины?
— Двадцать саженей.
— А якорьцепи на клюзе?
— Семнадцать с половиной.

Пароль исключал случайность: стравленной якорьцепи не могло быть меньше, нежели глубины.

К борту «Аскольда» подошла шлюпка, и Гаркуша, коротко предупредив: «Берегитесь!» — сбросил в нее штормтрап.

Поднялись двое. Молча последовали за капитаном, Марией и Жуковым в кают-компанию. И только там, при свете, поздоровались, испытывающе вглядываясь в каждое лицо. Оба были в рыбацких парусиновых куртках и в сапогах, оба не бриты. В холодных, как зимнее море, глазах — готовность, в случае надобности, тут же, не сходя с места, умереть, однако не отрешиться от своего дела, от побратимов, ждущих на берегу.

— Никак товарищ Жуков? — спросил неуверенно один из них.

— Он самый, — шагнул вперед Жуков, не сводя глаз со спросившего. — Колесниченко? Из депо?

— Точно, — расплылся в улыбке Колесниченко. И сразу исчезли натянутость, цепкость взглядов, выжидательность — оцепеневшая, как взведенный курок. Люди придвинулись, сомкнулись, по-мужски неуклюже обнялись, тиская друг другу руки и плечи.

— Ох, и заждались мы вас! — откровенно радовались крымчане. — Третью ночь ожидаем, все кураи степные пожгли! Вы засветите к берегу три иллюминатора, а через минуту оставьте один. Чтобы хлопцы, значит, наши не беспокоились. Тот один не затемняйте, будет маяком шаландам.

— Шаланд у вас много? — поинтересовался Савелий Иванович.

— Двенадцать.

Капитан остался доволен. Он тут же, в свою очередь, сообщил:

— Спустим сейчас трапы, разгружаться будем на оба борта. Не помешают нам?

— Не-е... С моря сюда никакая собака не сунется. После сентября, когда наши побили у Обиточной косы,

на Азовье, врангелевские корабли, белые осторожничают. А с берега — заслоны у нас.

Одна за другой из темноты подходили к «Аскольду» шаланды. На дне в каждой ставили зажженный фонарь; скрытый от берега бортом шаланды, такой фонарь высвечивал маленькое суденышко снизу, и оно хорошо просматривалось с палубы парохода. Не медля приступили к разгрузке.

Ноябрьская ночь все больше сгущалась. И хотя на палубе, на трапах, в шаландах было людно и шумно, где-то совсем рядом — над мостиком и над мачтами, за кормой — угадывалась глухая дремучая тишина. Та первозданная тишина, в которой слышно движение ветра, мерцание звездного света да отдаленный вой одинокого волка... Море и побережье лежали упругим разделом людских страстей и вечного земного покоя. Они казались непроницаемей черного неба с бездонными сыпучими топями Млечного Пути.

Камни и волны словно хранили молчание с тех древних времен, когда отзвучали здесь, у ныне дикого Тарханкута, мудрые речи эллинов да топот и ржание скифских коней. Не об этом ли крае штурман читал в Херсоне стихи? Молчание ведь царило не только над побережьем, но и дальше, в ковыльной степи, в уснувших горах и долинах, в минаретах Бахчисарая, воздетых к небу, и в высохшей чаше фонтана Любви — чаше, что помнила до сих пор влажные губы и гибкие тела ханских разноплеменных полонянок. Все погрузилось в безмолвие, в сны, в таинственные и сокровенные думы. О быстротекущих радостях и долгих печалях. О жизни и небытии. О бессмертии и забвении... Если бы не существовало ночей, человечество не досчиталось бы, наверное, лучшей половины своих раздумий. Тех раздумий, которые современники уводят на костер, а потомки затем высекают на мраморе.

А о чем думала она, Мария? Только о том, чтобы ни темень, ни тишина не выдали. Луч прожектора был бы сейчас для нее равноценен крику. Предсмертному крику в ночи.

Ночь уравнивала с покоем и вечностью камни и звезды, остатки эллинских памятников и скифских баб на курганах. Но люди оставались людьми, и потому нельзя было полностью доверять ни морю, ни травам,

ни тишине. Ибо многие научились использовать дрему и задумчивость мира для удара из-за угла или выстрела в спину... Марию тревожила и угнетала беспечность крымчан и аскольдовцев, которые увлеклись разгрузкой и ни о чем другом, казалось, не помнили. Даже матросы-пулеметчики, нарушив приказ, оставили свои «максимы» и вытаскивали вместе со всеми из трюма длинные, как гробы, ящики с винтовками. И Мария не выдержала, приказала военморам вернуться к пулеметам. К ее удивлению, матросы не стали возражать, а старший из них поспешно отчеканил: «Есть!»

Позаботилась она и о том, чтобы Савелий Иванович выставил вахтенного сигнальщика. Вслед за вахтенным и сама поднялась на мостик.

— Все в порядке? — строго спросила у моряка.

— А чо ж...— ранодушно ответил вахтенный.— Темно вот только, ни черта не видать. За ухом почесать — и то не найдешь.

Мария вглядывалась сама в море и в берег, но в любой стороне клубились лишь пятна мрака да время от времени, проснувшись на миг, испуганно всхлипывала какая-нибудь волна. Глаза слезились от напряжения и прохлады.

Шаланды появлялись из темени и уходили в нее, и это было единственным, что успокаивало.

Где-то после полуночи стал прощаться с аскольдовцами Жуков. Его ждал берег, ждали дела, ждали друзья-повстанцы. Жукову и его побратимам еще предстояло немало забот: после разгрузки парохода доставить оружие через вражеские кордоны в горы... Он подолгу тряс руку каждому, благодарил за помощь, обещал, что в самый короткий срок с Врангелем будет покончено.

— Пусть только наши на Перекопе начнут, а мы белякам тут вздохнуть не дадим!

Прощаясь с Марией, Жуков смущенно кашлянул и неуверенно произнес:

— Тут делегация к вам...

— Какая делегация?

И тотчас же из темноты вынырнули матросы-пулеметчики.

— Просим разрешения остаться в Крыму, с повстанцами! Ну, и... пулеметы, конечно, прихватить.

Так вот почему они были такими покладистыми, когда она приказала им вернуться к пулеметам!

— Сагитировал? — повернулась Мария к крымчанину. Жуков лишь улыбнулся в ответ — беспомощно, виновато. А матросы, выгораживая его, торопливо заверили:

— Мы еще раньше надумали... Ну что нам в Херсоне делать? Мешочников да урков ловить? А тут — самое революционное дело!

— А что я скажу Воронихину? — не сдавалась она, хотя в душе разделяла стремление военморов.

— Скажете, хлопцы остались, чтобы прославить в бою Херсонскую роту. Он это любит!

Жуков молчал, но не трудно было догадаться, что это и его просьба. Ох, как нужны ему сейчас эти два пулемета! Да еще с такими ребятами!

— Ладно, возьму грех на душу,— улыбнулась теперь Мария. И тут же предупредила: — Но с «Аскольда» сойдете с последней шаландой.

— Есть! — опять с готовностью отчеканили военморы, должно быть не ожидавшие, что им удастся уговорить ее так скоро.

Жуков ушел с парохода с очередной шаландой. Марии взгрустнулось: вот покинул человек мирную жизнь и через каких-нибудь четверть часа ступит на землю, занятую врагом. И начнет судьба Жукова отсчитывать совсем иные часы: с атаками и засадами, с явками, с ежеминутным риском нарваться на врангелевский разъезд или попасться в лапы контрразведки. А здесь, на «Аскольде»,— тихое мурлыканье пара в патрубках, домашняя теплота кают, тишина. Наверное, во всей России сейчас не было второй такой резкой грани между войною и миром.

А ночь текла неслышно и непроглядно, словно придонная глубина плавной и чистоводной реки. Звезды, тяжелея к утру, провисали все ниже, тускнея и оплывая, как стеариновые огарки. Медные поручни трапов покрылись холодным налетом, оставлявшим на ладонях влагу. Шаланды у борта раскачивались все злей и размашистей: ветер с моря крепчал. Мария обратила на это внимание вахтенного сигнальщика, но тот равнодушно, будто речь шла о чем-то давно привычном, не стоящем отдельного разговора, обронил:

— Да, по всему видать, завтра нас болтанет...

— Шторм? — попыталась она уточнить, и сонный сигнальщик вяло ответил:

— Шторм не шторм, а баллов пять разменяем...

Становилось по-настоящему холодно, и Мария все чаще укрывалась на шкафуте, с подветренной стороны парохода. Здесь в конце концов и застал ее торжествующий возглас Гаркуши:

— Все, последний ящик. Шабаш!

Прощались горячо: и с крымчанами, и с матросами-пулеметчиками. Штурман просил еще минут сорок пожечь на берегу костер, а Савелий Иванович, растирая натруженные ладони, заботился уже о другом:

— Сколько осталось до рассвета?

— Часа три.

— Что ж, успеем уйти от бухты...

Последняя шаланда, отвалив от борта, скрылась, словно растворилась в ночи.

Торопливо стуча, будто озяб и теперь пытался согреться, брашпиль выбрал якорную цепь, жадно заглатывая ее изголодавшейся пастью клюза. Сожалея о прерванном сне, ропща на горькую долю, тяжко вздохнула машина. «Аскольд» начал медленно разворачиваться навстречу морю — навстречу ветру и валкой, хлесткой волне.

Штурман следил одновременно и за картушкой компаса, ожидая, когда рулевой приведет пароход на курс, и за береговым костром, неяркий отсвет которого скатывался за корму. А капитан — довольный, повеселевший — мечтательно произнес:

— Эх, чайку бы сейчас горяченького стаканчик!

Мария только теперь почувствовала, как устала. Тонкие посвисты ветра в мачтах, все более злые всплески волн, тусклые звезды, что с каждой минутой мутнели в невидимой вязкой темени туч, все показалось внезапно скучным, отчужденным и надоевшим. Она спустилась в каюту, и та почудилась ей самым уютным уголком в мире.

Холод выходил из тела мелким ознобом. Не раздеваясь, легла на койку и вдруг ощутила, как море медлительно и ворчливо раскачивает «Аскольд», словно на скрипучих тяжеловесных качелях.

14

Разбудил ее настойчивый стук в дверь каюты. Еще не проснувшись окончательно, вяло откликнулась, и тотчас же за дверью раздался чей-то взволнованный голос:

— Вас просят срочно на мостик!

Вскочила, но тут же поспешно схватилась за койку: качало уже не на шутку. Мельком взглянула в иллюминатор: серый день, такое же серое, без горизонта, море, исполосованное белыми гребнями пены. «Который час? И почему — срочно на мостик?»

На палубе ударил навстречу гудящий воздух. Ветер срывал с верхушек валов пыльную влагу, прижимал к воде обрывки-обчесы разметанного пароходного дыма. Влага, наполнившая все вокруг, стекала с надстроек и с поручней трапов, покрыла скользким налетом палубу, набивалась, наверное, и в раструбы судовых вентиляторов, потому что «Аскольд», взбираясь на волны, судорожно подрагивал, дышал неровно и тяжко. Нет, берега не было видно. «Что же случилось?»

Не привыкшая к качке, Мария, цепляясь по пути за шлюпки, за все, что попадалось под руки, с трудом поднялась на мостик. И обомлела, увидев отсюда, с высоты, как полубак «Аскольда» с ходу зарывается в кипящую, набегающую волну. Но ни Савелий Иванович, ни штурман не обращали внимания на полубак, на волны. Капитан озабоченно и в то же время растерянно протянул радиограмму.

Ветер вырывал из рук тоненькую бумагу, палуба мостика уходила из-под ног, и Марии пришлось прислониться спиною к рубке, чтобы прочесть:

«SOS».

Она не была моряком, но знала, что значит этот сигнал. Пропустила цифры, обозначавшие координаты судна, терпевшего бедствие: эти цифры все равно ей, Марии, не раскрывали ничего. Потом как-то одновременно,— не по отдельным фразам, а весь сразу,— восприняла текст. «Потерял ход, вода поступает трюмы, помпы не справляются. Имею на борту сто семь пассажиров: женщины, дети. Нуждаюсь немедленной помощи, продержусь на плаву часа три. «Анакрия».

Перечитала снова и снова. Перевела взгляд на море — ужаснулась: на миг представила, как в этой водя-

ной кипени, в ломающихся и вновь воскресающих волнах погружается судно, и на палубах, обдаваемых ветром, брызгами, холодом, мечутся обезумевшие матери, видя, как наползает на каюты вода...

— Это далеко отсюда?

— Милях в тридцати,— ответил штурман и уточнил: — Ходу — часа четыре.

— Значит, не успеем?

— Кто знает.. Они могут пойти ко дну через час, а могут продержаться и сутки.

— Тогда нужно спешить! — воскликнула Мария.— Не терять ни минуты.

Штурман неловко смолк и отвернулся, словно предоставлял теперь очередь высказаться капитану. И действительно, Савелий Иванович, до сих пор молчавший, неуверенно, как-то уж очень робко промолвил:

— Да, нужно спешить, таков морской закон. Однако...— Он запнулся и лишь после паузы глухо закончил: — В этом случае мы непременно попадем в руки белых. Поэтому сами, без вас, и не приняли никакого решения.

Море за бортами было холодным, как смерть. В гуле ветра слышался плач младенцев, истошные крики женщин, ополоумевших от материнской беспомощности и неотвратимой близости морской глубины. А реи мачт напоминали виселицы. Те, которыми, по рассказам Жукова, покрыли врангелевцы крымские большаки и пыльные площади таврических городов...

— Это не провокация белых? — кивнула Мария на бланк радиограммы. Савелий Иванович лишь беспомощно развел руками:

— Все может быть. Но если действительно гибнет судно...

Она напряженно и молча думала: что же предпринять? Спасение гибнущего судна могло превратиться в гибель экипажа «Аскольда». А собственное спасение... Нет, нет, большевики никогда не были шкурниками!

Встречные волны, с шумом разбиваясь о форштевень, раскачивали «Аскольд» ритмично, как замедленный метроном. Они будто напоминали о необратимости времени, каждой потерянной минуты.

«Решение может быть, видимо, только одно... только одно!»

— Может, нам митинг созвать? — с мрачной издевкой пошутил штурман. И поразился тому, что Мария, не обратив внимания на его тон, согласно кивнула:

— Что ж, это мысль... Пусть каждый выскажет свое мнение.

Моряки по-прежнему молчали, видимо не успев осмыслить и взвесить, стоит ли возлагать на команду, по сути, командирские полномочия. И Мария уже нетерпеливо попросила:

— Савелий Иванович, соберите экипаж в кают-компанию!

Собрались все, кроме вахтенных. После удачной ночной разгрузки, после того, как «Аскольд» избежал встречи с врангелевскими кораблями и теперь благополучно возвращался в Херсон, настроение у матросов было приподнятым и веселым. Рассаживались шумно, вразвалочку, без той настороженной собранности, которая отличала каждого на «Аскольде» еще вчера. У Марии сжалось сердце от сознания, что вот сейчас она вынуждена будет развеять людскую надежду на то, что все опасности позади, уверенность в скорой встрече с родными херсонскими берегами. И она тянула, обманывая себя, выжидая, пока все поудобней рассядутся, хотя понимала, что ее промедление, как говорится, смерти подобно для тех, других, на «Анакрии».

— Товарищи!

Старалась казаться спокойной и втайне порадовалась тому, что после ее обращения гомон в кают-компании замер не сразу, не в тот же миг.

— Товарищи, принята радиограмма.

В тишине, наступившей вдруг, слышались море, и ветер, и работа уставшей машины. Но женщине чудилось, что даже сквозь этот гул она различает дыхание каждого. Радиограмму прочла, не отрывая взора от текста, хотя помнила его наизусть: боялась лишний раз встретиться с обмершими взглядами матросов.

— Вы — моряки и потому лучше меня понимаете... В четырех часах ходу от нас гибнут люди, они взывают о помощи. Но, спасая их, мы рискуем попасть в руки белых. Более того: не исключено, что радиограмма — дело рук врангелевцев. В этом случае, сами знаете: нам пощады не будет... Мы собрались, чтобы каждый самостоятельно выбрал... решил для себя: согласен ли он

идти к «Анакрии». Решение большинства станет законом для капитана. Вот и все. Могу лишь добавить, товарищи, что времени для долгих раздумий нет.

Тишина была слышимой. Опускали головы моряки, глядели куда-то вниз, словно там, под ногами, искали ответ на тревожную думу. Что виделось им в эти минуты? Родные херсонские села? Свои детишки? Выжидательные и молящие глаза матерей и жен?.. Должно быть, людям казалось, что за молчание можно спрятаться, как за броню. Но с каждым мгновением эта броня становилась тоньше и ненадежнее.

Палубные часы на переборке кают-компании безжалостно отсчитывали время, и это время превращалось в кабельтовы, которые проходил «Аскольд» по старому курсу и которые могли оказаться потом роковыми для тех, на «Анакрии».

— Товарищ Гаркуша...— спросила Мария боцмана, не в силах выдержать тишину. Гаркуша вздрогнул, зачем-то встал, затравленно озираясь, точно провинившийся школьник. Затем собрался с духом и выпалил:

— Я — как Савелий Иванович.

И тут же поспешно сел, чтобы, не дай бог, не спросили еще о чем-нибудь. Но его торопливая фраза словно разбудила матросов. Послышались робкие возгласы, которые были скорей не ответами, а общими раздумьями вслух.

— Чего ж тут гадать... Надо идти на помощь.

— А своя голова, выходит, ни хрена не стоит?

— Твоя голова при тебе и останется. Даже коли беляки нас шлепнут.

— А ежели б тонули мы?

— Думаешь, спасали б?

— Меня два раза из моря вытаскивали. Должен же я про то помнить!

— Пусть молят бога, чтоб мы поспели.

— Бога теперича нет.

— То на берегу нет, а в море он завсегда будет.

Среди этого гула поднялся внезапно машинист Яремчук. И матросы сразу примолкли, выжидательно повернулись к нему.

— Я так думаю,— тихо и стеснительно произнес машинист, словно не был уверен в своей правоте.— Революция, значит,— счастливое будущее народа. За него

уже три года бьются наши бойцы на фронтах. Бьются, не щадя ни крови своей, ни жизни. Так что ж получается: для тех, на «Анакрии», будущего уже не будет? Только потому, что мы опасаемся за свою шкуру? Или мы не бойцы революции? Да, может, «Аскольд» наш — первое судно в море под красным флагом! И мы, значит, этот флаг опозорим?

— Так, может, на той «Анакрии» одни буржуи плывут! — неуверенно перебили его. Яремчук обернулся на голос, отрезал:

— И дети тоже буржуи? И в кочегарке шуруют в топках буржуи? Надо идти к «Анакрии»! Немедля, чтобы поспеть!

И тогда растроганно сказал капитан:

— Спасибо, братья-моряки... На большой риск мы идем. Но было бы горше жить, зная, что вдовы и мореходы будут плевать в наши спины. А теперь — по местам. Штурман, ложитесь на курс к «Анакрии». Боцман, готовьте к спуску шлюпки.

Команды капитана, которыми он завершил свою короткую речь, как бы подвели черту под раздумьями каждого. Матросы привычно повиновались им, обретя себя снова в будничных моряцких делах. И уже раздавались окрики Гаркуши, торопившие нерасторопных или задумавшихся, и Яремчук обсуждал с кочегарами, как увеличить ход хотя бы на пол-узла.

Пароход повернул на новый курс, и теперь волны били ему в скулу, вздымая брызги над полубаком. Судно раскачивало с борта на борт, и время от времени этой качке отзывался жалобным звоном небольшой корабельный колокол. Ветер подвывал в антеннах и вантинах, как в зимних, голых ракитах.

Возвращаясь на мостик, Савелий Иванович пригласил Марию в радиорубку. Радист не отрывался от наушников, вслушиваясь в какие-то шорохи и шумы.

— Откликнулся «Анакрии» кто-нибудь?

— Нет, будто вымерло море.

— Тогда передайте... «Нахожусь четырех часах ходу. Иду на помощь. «Аскольд».

— Может, повременить с радиограммой? — засомневалась Мария.— Белые могут услышать.

— Так надо,— со вздохом ответил капитан.— Это

поможет людям на гибнущем судне лишний час продержаться.

Он, конечно, был прав, и Мария кивнула радисту. Тот быстро заработал ключом, выстукивая позывные «Анакрии». И с этой минуты отступать или менять решение было поздно: «Аскольд» заявил о себе в открытую на все море, на все черноморские берега — и свои, и занятые врагом.

Яремчук все-таки выжал из машины дополнительных пол-узла, однако Марии казалось, что «Аскольд» идет гораздо медленней, нежели раньше. Может быть, потому, что волны не бежали теперь навстречу, создавая обманчивую иллюзию стремительности, а ударялись в наветренный борт и затем толклись вокруг корабля беспорядочно и угрюмо. Сквозь мутную пелену туч просачивалось изредка солнце — тогда на море ложился матовый отсвет, холодный и тусклый, как кованая сталь. Острие этой стали хищно нацеливалось в «Аскольд».

Через некоторое время радист доложил о «квитанции» с «Анакрии»: судно, терпящее бедствие, подтверждало, что сигнал «Аскольда» принят и понят. Мария торопливо набросала шифровку в Херсон: об изменившейся ситуации, о том, что задание партии выполнено. «Выполнено ли? — подумала вдруг с тревогой.— Надо обойти корабль, еще раз поговорить с экипажем. Что бы ни случилось, белые — по крайней мере, до ночи — не должны догадаться, где выгружено оружие».

Матросы и боцман возились на шлюпочной палубе: проверяли отпорные крюки и весла, ругались, что тех не хватало,— запасных не было, а неполным комплектом разве выгребешь против волн? Навешивали на вельботы рули — изогнутые, похожие на литеру твердого знака. Одна из шлюпок была уже вывалена за борт и повисла, готовая к спуску, на коромыслах шлюпбалок над клокочущей, гудящей внизу водой.

Мария отозвала Гаркушу, поделилась своею тревогой. И боцман, не отрывая придирчивого взгляда от работавших матросов, заверил:

— То нам известно... Не сумлевайтесь, беляки у нашего брата не попасутся.

Он сказал это твердо и сразу, как о чем-то само собой разумеющемся, и Мария почувствовала, что даль-

нейший разговор на подобную тему лишь оскорбил бы Гаркушу и моряков.

В тамбуре машинного отделения в лицо ей ударил плотный горячий воздух. Она испуганно замерла, не решаясь ступить на узкий железный пайол, отшлифованный ногами до скользкого блеска. Видела перед собою крышки цилиндров, на которых мелко подрагивали грязные капли влаги и масла. А этажом ниже, под решеткой пайола, метались с грохотом шатуны, вот-вот готовые выскочить из чрева машины и все вокруг вдребезги разнести. Блеклые закопченные лампочки не могли как следует высветить помещение, и потому чудилось, будто оно туго набито вязким и мутным воздухом. Все в нем гудело, двигалось, дышало маслянистым потом и жаром, то удаляясь на качке от Марии, то надвигаясь вплотную, и она, подавленная и оглушенная, была уверена, что стоит ей сделать шаг, как эта громада разгоряченного металла поглотит ее, искромсает, сотрет в порошок. Она боялась пошевелиться, и росинки влаги, что проступили на лбу, показались ей тоже маслянистыми и тяжелыми.

Яремчук наконец заметил ее, быстро взбежал по трапу и, подбадривая, подал руку. Но даже после этого Мария двинулась за ним робко и нерешительно, все еще не веря в прочность пайола, поручней, руки машиниста.

Внизу, на рабочем месте Яремчука, было немного спокойнее. Его помощник лениво, почти небрежно — должно быть, рисуясь перед женщиной — похаживал с масленкой возле машины, ничуть ее не боясь. И Мария с невольным восхищением взглянула на машинистов, властвовавших над этим грохочущим жародышащим царством.

— Порядок? — прокричала она, чтобы хоть как-то оправдать свой приход. Яремчук засмеялся и, склонившись к ней, кивнул на машину:

— Старушка. Никакой силы в ней не осталось. Еле шамкает, губошлепая!

Однако на машину глядел любовно, с затаенною гордостью, и Мария подумала о том, что не будь машина горячей, машинист ласково похлопал бы ее ладонью, как старого друга.

Они кричали друг другу, пересиливая гул работавших механизмов.

— А у кочегаров как?

— Норма,— показал Яремчук на манометр, все еще продолжая смеяться.— Сейчас провожу вас к ним!

В кочегарке было немного потише, однако дышалось труднее. В топках злобно клубилось пламя, билось в заслонки, пытаясь вырваться и броситься на людей. Гудели котлы, тряслись в горячем ознобе манометры. Воздух в помещении был насыщен угольной пылью. Она, эта пыль, скрипела на зубах, набивалась в горло, стекала грязью по мокрым лицам кочегаров. Когда открывалась какая-нибудь из топок, помещение наполнялось заревом, и уродливые тени начинали метаться по переборкам. Отворачивая лица от огня, кочегары швыряли лопатами уголь, закрывали топку, и тогда на какой-то миг чудилось, будто стало прохладнее. Матросы устало распрямлялись, переводя дыхание.

«Преисподняя,— подумала женщина.— Не зря кочегаров на флоте величают «духами».

После разговора с кочегарами направилась к себе. Проходя мимо капитанского жилья, услышала за дверью шепот и не удержалась, заглянула. Савелий Иванович стоял перед образом Николы Морского и молился. Что ж, каждый черпал силы, в чем мог.

15

«Анакрия» медленно погружалась в воду кормой. Топки были погашены, пар стравлен, и судно уже не могло отбиваться от бесконечных ударов волн. Его палубы и надстройки облепили люди — кричащие, плачущие, размахивающие руками. Четыре полузатопленные шлюпки с женщинами и детьми плавали неподалеку. Они тотчас же устремились к «Аскольду».

Только сейчас Мария по-настоящему оценила сноровку матросов. Шлюпки «Аскольда» были спущены вмиг. С мостика она видела, как выгибаются весла под сильными рывками, как что-то кричит морякам на передней шлюпке Гаркуша. На второй за старшего пошел штурман, третью возглавил Яремчук.

С борта «Анакрии» полетели в воду спасательные круги, вслед за ними в море бросились несколько чело-

век и поплыли к «Аскольду». Савелий Иванович, наблюдавший это, в сердцах выругался. И тут же приказал спустить за борт все штормтрапы.

Марию поразило то, как преобразился Савелий Иванович. От беспомощного старика, каким видела она его в каюте перед иконой, не осталось и помина. Теперь это был полновластный хозяин судна, собранный и подтянутый, командир, руководящий боем. Команды отдавал спокойно и в то же время коротко, четко и твердо, словно всю свою жизнь только и занимался тем, что спасал гибнущие суда. Он ухитрялся видеть все сразу: и палубу «Анакрии», и шлюпки, и тех, кто плыл среди волн.

Когда вельботы «Анакрии» стали приближаться к «Аскольду», капитан сказал Марии:

— Идите вниз, размещайте людей.— И успокоил ее: — Думаю, что семью шлюпками успеем снять всех.

Теперь она разглядела, в каком плачевном положении находились пассажиры. Перегруженные вельботы низко сидели в воде, и лишь воздушные ящики, которыми снабжены спасательные шлюпки, не позволяли им затонуть. Но волны то и дело захлестывали их, и люди без конца—уже без мыслей, механически—вычерпывали воду кто чем мог: ведрами, шляпами, даже пригоршнями. Они оцепенели, обессилели, должно быть смирившись с судьбой. И это смирение, не подойди «Аскольд», ускорило бы развязку. Дети и те не плакали, а только жалобно поскуливали и жались в комочки.

Даже с подветренной стороны парохода шлюпки раскачивало и наваливало на борт. Стало ясно, что ни дети, ни женщины сами на палубу не поднимутся. Тогда двое матросов, оставшихся на «Аскольде», сами спустились по штормтрапам. Улучая моменты между навалами волн, гребцы на руках протягивали им детишек, и матросы, повисая на одной руке, подхватывали их другой, прижимали к борту и затем медленно поднимались к палубе, от балясины к балясине. Гребцы торопились, чтобы скорее вернуться к «Анакрии».

Мария приняла на руки мальчонку, почувствовала, как мелко дрожит в ознобе детское тельце. И в этом тельце для нее вдруг воплотился весь ужас происходящего. Да, только за один такой день можно проклясть

навсегда и море, и корабли, и холодные скользкие банки шлюпок... Кочегары, выскочившие наверх, подбирали других детей, но Мария ничего не замечала вокруг и лишь тесней прижимала к себе продрогшего мальчика. Не сразу поняла, почему женщина с мокрыми волосами отбирает у нее ребенка, и только после этого словно очнулась от забытья. Засуетилась, увлекла всех в кают-компанию. И хоть спасенных уже набралось немало, все отыскивала глазами того мальчонку. Не застыл бы...

Здесь, в кают-компании, ощутив под ногами прочную палубу, женщины начинали рыдать, биться в истерике. Те, у кого на «Анакрии» остались мужья, выскакивали из помещения и, плача, заламывая руки, вглядывались в тонущее судно, в шлюпки, в плывущих людей. Мария успокаивала их как могла, заверяла, что всех с «Анакрии» снимут. Но ее убеждений хватало ненадолго, и женщинами снова овладевало отчаяние. Неужели безволье так заразительно?.. Выручил Савелий Иванович. Он вошел и вдруг сердито прикрикнул на женщин. Те испуганно смолкли, а капитан уже мягко, по-отечески добро успокоил:

— Самое страшное позади. Теперь все будет хорошо.

К удивлению Марии, это подействовало. Женщины продолжали плакать, но уже тихо, украдкой, словно каждая о чем-то своем. Может быть, до сих пор им попросту не хватало рядом твердой мужской уверенности.

Мария не замечала времени. По громкому голосу Гаркуши поняла: еще одна шлюпка вернулась к «Аскольду». Встретила новых женщин и детей. Потом появились и пассажиры-мужчины. Они лишь заглядывали в кают-компанию, успокаивая близких, но размещались на палубе. Помогали затем подниматься из шлюпок на борт своим товарищам по несчастью.

Из тех, кто пустился к «Аскольду» вплавь, по пути подобрали троих. Остальные,— а сколько их было, никто не ведал,— либо утонули, либо их отнесло в море. Подобранные были почти без чувств, кочегары растирали их паклей, смоченной в горячей воде.

А на палубе торопил, надрываясь, штурман:

— Скорее! Скорее!

Стоял какой-то тревожный гул, слышались возбуж-

денные возгласы, и Мария, гонимая недобрым предчувствием, выбежала на палубу. Задрав кверху нос, так, что оголился форштевень, «Анакрия» кренилась, ложилась набок. С ее наклоненных и потому отчетливо видимых палуб срывались в море, пробивая фальшборт, кильблоки, раструбы вентиляторов, бухты тросов. А где-то посредине между нею и «Аскольдом» рвалась через волны к обреченному судну последняя шлюпка. На ее корме стоял Гаркуша и яростно размахивал кулаком, задавая отчаянный темп гребцам. Весла едва не ломались, кромсая воду.

— Много осталось там? — схватила Мария штурмана за рукав.

— Пассажиров сняли всех! Осталась команда, человек десять!

Он ответил, не оборачиваясь, не отрывая напряженного взгляда от вельбота, и губы его подрагивали, словно штурман всем своим существом чувствовал, как медленно сокращается расстояние между шлюпкой и гибнущим судном. Вдруг он замер — и вслед за ним замерли и Мария, люди на палубе, даже ветер. С какой-то порывистою тоской штурман выкрикнул:

— Все! Поздно!

Наметанным глазом он раньше других увидел агонию корабля. Вода достигла иллюминаторов «Анакрии», и судно погружалось и кренилось гораздо быстрее, нежели до сих пор. Волны все чаще перехлестывали через фальшборт, из отсеков вырывались наружу остатки воздуха, и потому вода на палубе клокотала, пузырилась, пенилась. Этот воздух был — как последний вздох. Руки-мачты, вздетые к небу в немой мольбе, безвольно откидывались все ниже, утратив надежду, и наконец «Анакрия» стала медленно сползать кормою в пучину, точно в могилу.

Шлюпка Гаркуши стремительно неслась теперь в обратную сторону, стараясь как можно дальше уйти от гиблого места, от заглатывающей гигантской воронки, которая сразу же образуется на месте погружения «Анакрии».

Толпа на «Аскольде» с ужасом наблюдала за последней минутой тонущего корабля. Мужчины стаскивали шапки, крестились, женщины тихо, обессиленно плакали, за спиной у Марии кто-то исступленно и торопли-

во бубнил все одни и те же слова молитвы: «Осподи, спаси и помилуй... Не отверни лика своего от пустынников...» Эта фраза, повторяемая без конца, словно человек не мог обрести памяти на большее, начинала навязчиво и монотонно вертеться и в мыслях Марии. От нее невозможно было избавиться, убежать, отвлечься, она уже чудилась в шуме моря, в плаче и причитаниях женщин, в молчаливой печали матросов. «Осподи, не отверни лика своего...»

«Анакрия» из последних сил цеплялась за воду надстройками, рубками, вантами. Потом, судорожно вздрогнув,— видимо, внутри ее сорвались с фундаментов, ломая переборки, котлы и машина,— как-то сразу, вздыбившись полубаком над серою сворой волн, ушла в глубину. Взметнулась, сомкнувшись, вода. На месте судна кипели, толклись беспорядочно буруны. Из них вырывались белые гейзеры и тут же, захрипев, плашмя опадали замертво на серые волны.

Сглаживая буруны, прокатилась волна, другая... И взору открылось море — пустое и бесконечное, с оплывшим от тяжести туч горизонтом. Был ли вообще пароход?

Звякнул машинный телеграф, и штурман, разбуженный этим звуком, поспешил на мостик. «Аскольд» едва заметно, с опаской, стал приближаться к роковому месту. Туда же направлялись со всех сторон и шлюпки, разбросанные по морю.

Мария уже не смогла б указать, где погибла «Анакрия». Волны катились однообразно-унылые, одинаково мрачные и тупые, и море представало перед глазами безлюдным, одичалым, нехоженным, как утром, как вчера, как тысячу лет назад. Только ветер гнал над ним низкое небо.

Когда «Аскольд» снова застопорил ход и толпа на палубе возбужденно загудела, Мария какое-то время не могла заставить себя взглянуть на воду... Вокруг густо плавали обломки дерева, весла, спасательные круги, какой-то судовой мусор. Вода все еще пузырилась, вынося из черной глубины на поверхность клубы мутного ила и обрывки водорослей: должно быть, их подняла с грунта «Анакрия», достигнув дна. Внезапно среди обломков Мария заметила курительную трубку и едва сдержала готовую вырваться криком нахлынувшую

боль: до сих пор она видела лишь предметы, относящиеся к судну; сейчас же увидела то, что принадлежало непосредственно человеку. Значит, те, кого не успел снять Гаркуша последним рейсом,— под «Аскольдом», в пучине, в холодной непроглядной тьме?

Сковывал суеверный страх от таинственной близости смерти. Смерть всякая тяжка, но бывает естественная и потому понятная, объяснимая, с которой хоть и трудно, но все-таки можно смириться. Кажется, штурман говорил, что на нашей планете уже прожило семьдесят миллиардов людей? И все умерли, и оставшиеся в живых всякий раз в конце концов чем-нибудь утешались.

А случается гибель нежданная и стремительная, когда грань между смертью и жизнью находится где-то рядом и ее можно почувствовать на лице, как ветер. Тогда не хватает никакой выдержки, никакого разума, ибо человек, увидев такую смерть, почти сам приобщается к ней.

Вельботы рыскали среди волн, вылавливали какие-то предметы, однако не находили людей — ни живых, ни мертвых. Постепенно они стягивались поближе к «Аскольду», и измученные гребцы нетерпеливо поглядывали на тали, свисающие с палубы: когда же поднимут шлюпки на борт?

Все было, по сути, кончено, и Мария медленно побрела по шкафуту... Палуба «Аскольда» напоминала пестрый разноплеменный табор. Спасаясь от ветра и холода, люди жались к надстройкам и трюмному люку, сушили одежду, не стесняясь ни моряков, ни друг друга. Они все еще не могли прийти в себя после пережитого, лишь недавнее возбуждение сменилось апатией, тупым и усталым безразличием ко всему. Только один пассажир — лысеющий, грузноватый — равнодушно поинтересовался:

— Куда нас теперь доставят?

— В ближайший порт Советской России,— ответила Мария.

С мостика Савелий Иванович отдал команду поднимать шлюпки.

16

— Миноносцы!

Этот возглас раздался, едва «Аскольд» лег на курс. Со стороны Крыма приближались два боевых корабля. Низкие, они шли в окружении пенистых бурунов, разметывая острыми форштевнями встречные волны. Из труб вырывался дым, стелился низко над морем, усиливая впечатление стремительности. На фоне этого дыма хорошо были видны белые полотнища Андреевского флага.

«Неужели перехватили нашу радиограмму? — тоскливо заныло сердце у Марии.— Значит, работали на волне «Анакрии»? И не ответили на крик о помощи?»

На ближнем миноносце замигал фонарь, и штурман, прочтя сигнал, мрачно сказал:

— Требуют остановиться.

Все на мостике тягостно молчали. Случилось то, чего больше всего опасались аскольдовцы.

Савелий Иванович перевел рукоятку телеграфа на «стоп». И как ни странно, именно этот приказ капитана, заставивший смолкнуть машину, вывел моряков из оцепенения. Штурман метнулся в рубку и вскоре появился оттуда с картой в руках.

— Я перенес наше место на новую, чистую,—сказал он Савелию Ивановичу.— А эту — в топку, сейчас же... Зачем белым знать, куда мы ходили ночью!

Он вынул из-под кителя смятую тетрадь, с сожалением посмотрел на нее, вздохнул:

— Пожалуй, сожгу и это.

Мария успела краешком глаза прочесть на обложке заглавие, старательно выведенное красивым штурманским почерком: «Рассуждения о плавании в полярных широтах и определение места судна в море по светилам низких высот». Видимо, это касалось заветной мечты моряка, о которой он как-то обмолвился Марии, говоря о Седове. В кочегарку он прихватил, по указанию капитана, и главный судовой документ — «Вахтенный журнал»: нельзя было оставлять врагу хоть малейшую возможность догадаться о бухте, где выгружено оружие.

Радист торопился передать в Херсон последнюю радиограмму, чтобы успеть затем уничтожить шифры. А Савелий Иванович немногословно и тихо распоряжался

о каких-то корабельных делах, и потому на мостике то и дело появлялись Гаркуша, Яремчук, матросы и кочегары. Выслушав капитана и быстро кивнув, что поняли, они тут же исчезали в разных углах парохода.

Миноносцы отвернули один от другого и теперь заходили с обоих бортов «Аскольда». Глядя на них, Савелий Иванович неожиданно сказал Марии:

— Спускайтесь на палубу, к пассажирам. Вы тоже с «Анакрии», ясно?

— Оставить вас в беде? — протестующе резко переспросила она.

— Беде вы ничем не поможете. И не возражайте, капитан здесь все-таки я.

На палубе пассажиры — кто со страхом, кто с оживлением следили за миноносцами. Мария, примостившись у трюмного люка, видела, как испуганно шепчутся женщины, косясь на красный флаг на мачте «Аскольда»; должно быть, боялись, что белые откроют огонь по советскому судну. Мужчины выражали свое отношение к происходящему более открыто, и до Марии долетали обрывки их разговоров.

— Слава богу, к своим попадем, а не в Совдепию...

— У своих-то самих — ни кола, ни двора... Лучше бы за границу...

— Мне, знаете, с самого начала был неприятен этот красный «Аскольд»...

— Ну и оставался бы на «Анакрии»!

— Спокойнее, господа, спокойнее! Видимо, нас отведут в Севастополь!

Отдельной группой сидели в сторонке оставшиеся в живых моряки с «Анакрии». Подавленные, они угрюмо молчали, не обращая внимания ни на миноносцы, ни на пассажиров. Они испили полную чашу горя и скорби, и уже ничто, казалось, не могло их опять испугать или встревожить.

Ветер швырнул в лица пассажирам космы черного едкого дыма, и только сейчас Мария увидела, что один из миноносцев подходит к борту «Аскольда». На его палубе суетились матросы, а десятка два вооруженных солдат замерли в ожидании, явно приготовившись переметнуться на пароход. И действительно, едва миноносец коснулся борта «Аскольда», как солдаты стали быстро взбираться на судно, держа наготове винтовки с

примкнутыми штыками. Вместе с солдатами появились флотский офицер-мичман и армейский капитан, на френче которого Мария заметила нарукавный знак контрразведки. Значит, миноносцы охотились за «Аскольдом» и только из-за него подошли к месту гибели «Анакрии».

— Всем оставаться на местах! — предупредил пассажиров капитан-контрразведчик. Он вполголоса начал отдавать короткие приказания солдатам — до Марии долетали лишь отдельные слова их: трюмы... машинное отделение... кочегарка. Солдаты тут же разбежались по судну, а сам офицер поспешил вслед за мичманом на мостик. Что ж, «Аскольд» захватывался по всем правилам абордажа.

Один из белых, с унтер-офицерскими лычками на погонах, подскочил к грот-мачте, на гафеле которой упруго бился на ветру красный флаг парохода, стал торопливо отвязывать флаг. Но злость его была сильнее терпения — он выхватил нож и полоснул лезвием по натянутому, как струна, фалу. Флаг, обретя свободу, рванулся за ветром; обрезанный конец фала выскользнул из блочка на гафеле, и красное полотнище вдруг плавно поплыло над морем, таща за собою обрывки фала, как косы. В пепельной мглистости дня, над искромсанной серостью волн красная праздничность знамени была завораживающей и броской, словно огонь маяка. И Мария порадовалась тому, что флаг, уносящийся все дальше и дальше в море, обладал такой же свободой, как ветер, — той свободой, которой не было теперь у аскольдовцев.

Море уже не казалось просторным и распахнутым, как час назад, ибо и эта ширь, оказывается, могла быть тюрьмой. Сизые полосы валов, длинные и угрюмые, точно следы от нагайки, покрывали испоротую спину моря до самого горизонта, а сверху над ним нависало небо, тяжелое, тупое и непроглядное, как потолок одиночной камеры. Едва просвечиваясь сквозь это небо блеклым пятном, тусклое солнце напоминало кусочек света в тюремном оконце. «Как там на мостике?» — беспрестанно думала Мария об одном и том же.

Миноносец отошел от борта парохода, и через некоторое время «Аскольд» медленно последовал за ним. Второй миноносец пристроился позади, и судно с пас-

сажирами оказалось под надежным и прочным конвоем. Волны почти захлестывали низкие палубы боевых кораблей, но орудия на них были расчехлены, комендоры находились на местах, и это подтверждало грозную и бескомпромиссную решимость белых. Эта подчеркнутая решимость с безоружным пароходом, рядом с детьми и женщинами казалась немного бутафорной, трусливой и потому особенно злой. И словно предупреждая о том, что шутки плохи, предостерегая каждого от опрометчивого шага, с миноносца, идущего впереди, то и дело долетали клубы едкого угольного дыма. Они проносились над палубами «Аскольда», как перелетные, неразорвавшиеся снаряды. «Как там на мостике?»

Искоса, словно ненароком, заглядывая в лица пассажиров, по палубе шел капитан-контрразведчик в сопровождении двух солдат. Когда он поравнялся с высоким, подтянутым мужчиной, тот поспешно придвинулся и тихо что-то сказал офицеру. Мария старалась не смотреть в их сторону и все же успела заметить, что мужчина едва уловимым кивком указал на нее.

Внешне офицер ничем не выдал себя, словно не услышал шепота высокого. Он по-прежнему медленно брел по палубе, не задерживая ни на ком взгляда дольше обычного. Но Мария каким-то обостренным чутьем угадывала, что его внимание теперь сосредоточено на ней. И действительно, возле нее офицер как бы случайно задержался и будто невзначай, негромко, избегая, должно быть, тревоги и любопытства остальных пассажиров, промолвил:

— Пойдемте со мной. Вы ведь из экипажа «Аскольда»?

Глаза у него были черные, мягкие и такой же мягкий голос, скорей извинительный, нежели властный. Когда Мария молча поднялась, офицер машинально вежливо, видать, по привычке пропустил ее вперед, точно хотел подчеркнуть, что она для него прежде всего женщина, а уже затем — противник.

Поверх фальшборта она взглянула на море — враждебное, отчужденное, совсем не такое, каким они шли вчера из Херсона. Присутствие белых, казалось, меняло не только ситуацию, но и все вокруг: небо, серую вспученность окоема, ветер, теперь колючий и жесткий. Наверное, и занятая врангелевцами земля, что их

ожидала, такая же мрачная, беспросветная и бездомная... Море отпугивало, нагоняло горькие думы, но Мария глядела на него, чтобы не видеть лиц пассажиров: и осуждающих, и сочувствующих, и попросту любопытных. Правда, больше всего было лиц равнодушных: люди все еще находились во власти пережитого, и все, что происходило на судне, считали логическим и естественным продолжением минувшей трагедии. Через их тупую усталость чувства почти не просачивались.

Высокий мужчина, указавший контрразведчику на нее, тоже смотрел на море. Смотрел напряженно, не оборачиваясь, точно в серых близких валах за бортом сосредоточился в эту минуту сокровенный смысл бытия — и нынешнего, и грядущего.

Но женщина легко распознала за этой сосредоточенностью самую обыкновенную трусость: мужчина боялся встретиться взглядом с ней, с Марией.

Позади него, на трюмном люке, сидела молодая женщина с девочкой лет шести. Именно к ней обратилась Мария. Кивнув на спину высокого, она поинтересовалась:

— Это ваш муж?

Женщина испуганно вскинула на нее глаза, робко и стеснительно кивнула. Нервно и резко, словно ждал этих слов-ударов, обернулся мужчина. И тогда Мария, глядя на него прищуренными глазами, сказала растерянной женщине:

— Не завидую вам... Жить с мелким филером, иметь от него ребенка — есть чему посочувствовать.

— Как вы смеете! — побагровел мужчина.— Я полковник русской армии!

— Почему же вы в штатском? — насмешливо спросила она.— Из высших проявлений патриотизма? И почему не там, где война? Насколько я знаю, «Анакрия» шла в Констанцу? И платой за что — за спасение вашей семьи или за ваше дезертирство — прикажете контрразведке считать ваш жандармский поступок?

Женщина, прижав девочку, тихо плакала, и штатский полковник метнулся к ней, что-то бессвязно бормоча, возмущаясь и утешая одновременно. Он явно собрался гневно ответить Марии, но она опередила его, не щадя ни на миг:

— У вас есть с собой мелочь? — обратилась к офицеру-контрразведчику.— Полковнику следует дать на чай!

И пошла, не оглядываясь, к трапу.

На мостике, по углам, торчали часовые, охраняя Савелия Ивановича, штурмана и Гаркушу у штурвала. А по мостику важно расхаживал мичман, правящий теперь на «Аскольде» вахтой. Он небрежно поглядывал то на боцмана, то на картушку компаса, то на идущий впереди миноносец. Не находя больше дел, мичман выпячивал грудь, рисовался, изображая бывалого флотоводца. Видимо, ему не хватало подзорной трубы, чтобы окончательно почувствовать себя перед аскольдовцами адмиралом Нельсоном.

При виде Марии штурман побледнел и закусил губу. Она улыбнулась ему одними глазами, ободряя.

— Может быть, вы объясните,— обратился к ней наконец контрразведчик,— где выгружено оружие?

— Неужели я похожа на предателя? — прямо ответила Мария.— Это невежливо!

— Что ж, понимаю...— устало произнес офицер.— Здесь, на глазах у пассажиров, мы не можем вас допросить: все-таки спасители. А когда придем в Севастополь, ваши сведения, по сути, никому не будут нужны. Все логично.

— И математически точно,— подтвердил штурман.

— А вы... не передумали? — повернулся офицер к нему. Моряк беспомощно, словно сочувствуя контрразведчику, развел руками:

— Я на службе... Давайте побеседуем о чем-нибудь постороннем. Скажите, в Севастополе по-прежнему функционирует яхт-клуб?

Офицер не ответил и отошел к краю мостика.

Здесь, на мостике, хозяйничал ветер. Он бился и скользил по рубочным стеклам, гудел, подвывая, в антеннах и леерах, срезал над трубою, как бритвой, пласты одичавшего дыма. Море из серого становилось сизым, разболтанным и ералашным, и пена уже не обозначала гребней валов, а была разбросана по нему бестолково, как накипь. Это было уже не море, вызывающее восторг своей горделивой силой, а просто глыбы воды, исхлестанные до рабской покорности ветром.

Миноносцы клевали форштевнями воду, с трудом

переламывали волну, отхаркиваясь гарью и паром. Передний из них оставлял за собою полосу изжеванной липкой воды, и «Аскольд» шел в кильватерной мутной струе, как по вязкому следу, а перед ним впереди маячили нацеленными зрачками кормовые расчехленные орудия миноносца.

И все же Мария чувствовала себя здесь гораздо лучше, нежели там, на палубе. Может быть, потому, что снова была с товарищами, и ее теперь не мучила мысль, что она покинула их в самую горестную минуту. Даже появилось желание созорничать, бросить несколько колких слов офицеру-контрразведчику или напыщенному мичману. И она не сдержалась, поддалась желанию. С иронией спросила у офицера:

— Неужели вас действительно смущает присутствие пассажиров? В смысле допроса?.. Щепетильность? Или боязнь неприятностей?

Контрразведчик взглянул на нее, и Марию поразило, сколько грусти в его глазах. Он не принял ее иронии, ответил хотя и тихо, почти полушепотом, однако серьезно:

— Ни то, ни другое... В отличие от других понимаю, что дни нашей армии сочтены. Утром получен ультиматум красных частей, его подписали Фрунзе и некто Бела Кун. Это начало конца.

— И вы торопитесь замолить хоть толику грехов?

— Разве я похож на труса? — отпарировал он почти ее же недавней фразой.— Просто хочу, чтобы хотя бы у сотни людей,— кивнул вниз, на пассажиров,— не осталось злой памяти о белой гвардии.

— Вряд ли это удастся вам,— жестко сказала Мария.

— Вы не верите, что в нашей армии есть порядочные люди?

— Нет, почему же... Однако белогвардейщина как явление всегда останется в людской памяти образцом зверства, реакции, гнусности. Так что ваши благие намерения бесполезны, как и все в вашей жизни.

— А вы смелая! — улыбнулся неожиданно офицер.

— Спасибо. Одного не пойму: человек вы вроде рассудительный... Почему же?..

— Не с вами? — перебил ее офицер Он снова отвернулся к морю и лишь потом, после паузы, промол-

вил: — Борьба классов, как мудро и точно определил ваш Ленин Мы враги — и это та грань, которая исключает раздумья, гуманность, логику. В гражданских войнах никогда не бывало рыцарства, а в классовых войнах — подавно. Вы знаете, за что боретесь, и я знаю тоже. Нам не по пути.

Их разговор внезапно прервал Гаркуша. Высунувшись из рубки, он невинно и равнодушно поинтересовался:

— Ваше благородие, нас в Севастополе что, расстреляют?

— Должно быть, да,— пожал плечом контрразведчик так же равнодушно, в тон боцману.

— Какого же хрена я стою вахту? Хоть отдохну перед смертью!

Гаркуша сплюнул с досады, как человек, обманутый в лучших надеждах, в сердцах рывком крутанул штурвал и вышел из рубки.

— Куда? Назад! — заорал мичман, выхватил из кармана дамский, почти игрушечный револьвер.

— Спрячь свой «бульдог», зануда,— процедил боцман и медленно отошел к Савелию Ивановичу, как-то сразу загородив его своей широкой фигурой. Мичман стоял растерянный, не зная, что предпринять. А «Аскольд» стремительно выкатывался вправо, нарушая строй кораблей. Мария видела, как заметались на палубах миноносцев люди, как поползли вслед за пароходом стволы орудий. Сигнальщики, быстро размахивая флажками, что-то передавали «Аскольду».

— Запрашивают, что случилось,— насмешливо разбирал сигналы штурман.— Ответить, что на «Аскольде» бунт? Боюсь, это вызовет на флагмане панику.

Солдаты вскинули винтовки наперевес, выжидательно посматривали на капитана-контрразведчика, готовые выполнить любое его приказание. И офицер негромко, спокойнее, чем все ожидали, приказал:

— Господин мичман, станьте к штурвалу.

— Я? — еще более растерялся мичман.— Простите, господин капитан, но... ведь я офицер!

— Станьте, пожалуйста, к штурвалу, — уже тверже повторил капитан. И мичман, униженный, злой, опустив голову и ни на кого не глядя, поплелся в рубку. Он остервенело совал обратно в карман перламутровый

револьвер, который — подумала Мария — наверняка пахнет духами.

Прошло несколько минут, прежде чем «Аскольд» вернулся в строй. Корабли снова вытянулись в цепочку. Но тяжелое колесо штурвала было явно не для холеных мичманских рук, и штурман, следивший за картушкой компаса, с издевкой заметил:

— Послушайте, мичман, вы рыскаете на курсе, как заяц по чернотропу. Вы не моряк, а тощая крыса. — И, не дав времени никому опомниться, с пафосом и наигранною тоской произнес: — Боже, как оскудел русский флот! Раньше были адмиралы Ушаков и Нахимов, а теперь пошли Колчаки... Были лейтенанты Шмидт и Седов, а теперь мичманы, не способные удержать пароход на курсе... Бедная старушка Европа: истратить миллионы фунтов на такое дерьмо!

— Прекратите! — оборвал его контрразведчик.

Шумела вода за бортами. Поскуливал ветер. Понуро кивая встречным валам, словно опустив голову, брел «Аскольд», окруженный конвоем, к близкому крымскому берегу, занятому врагом.

17

В Севастополь пришли под вечер. Передний миноносец остановился у бонов, пропуская «Аскольд», однако в бухте опять обогнал его и повел за собой мимо Приморского бульвара и Павловского мыска к глухой Аполлоновой пристани.

Волны и ветер на Севастопольском рейде были спокойнее, тише, нежели в море. Вода и вовсе переходила в гладь в глубине Инкермана, в Артиллерийской и Южной бухтах. И только над Павловским равелином ветер по-прежнему остервенело трепал сигнальные флаги.

На Приморском бульваре — Примбуле, как называли его моряки, — бродили толпы гуляющих. Было слышно, как в ресторане напротив памятника Затопленным кораблям надрывно и томно плакали скрипки. А из татарских духанов долетал до «Аскольда» тяжелый приторный запах горячих мангалов, прогорклого масла и чебуреков. Где-то подальше — должно быть, на Мичманском бульваре, у памятника Казарскому, — играл духовой оркестр; по Большой Морской проносились

шумно пролетки, а на макушке города, уходящего от гавани амфитеатром, печально гудели колокола Владимирского собора. В этом соборе, знала Мария, покоился прах прославленных флотоводцев России, и, может быть, потому собор единственный сохранял суровую строгость, от века присущую городу-крепости. А белый Севастополь, по всему видать, доживал свои дни сумбурно, крикливо и судорожно, смешав воедино отчаяние и надежды, разгул и молитвы. В этом разгуле, которым врангелевцы пытались заглушить мысли о близком конце, все позабыли, казалось, о миноносцах и канонерских лодках, что сиротливо дремали у Минной стенки, о парадных катерах с флагштоками для штандартов, болтавшихся на легкой зыби у адмиральских причалов Графской пристани, об извечной зоркой настороженности Константиновского равелина. Это было почти кощунством, и город с надеждой глядел вечерними окнами, посветлевшими от поредевшего неба, в сторону Мекензиевых высот, откуда могли появиться красные части, прорвавшие Перекоп.

Правда, вскоре Мария убедилась, что ее впечатление о белом Севастополе — одностороннее. В глубине Южной бухты скучились баржи, буксиры и транспорты разной масти, которые отчаянно дымили высокими трубами, разводя пары. А к ним со всех концов Севастополя — и по городскому крутому спуску, и с Корабельной стороны, и от железнодорожной станции — тащились сплошной вереницей телеги и экипажи, груженные разным скарбом. Разгул разгулом, но врангелевцы, а вместе с ними и остатки сановного люда, стянувшегося в Крым, готовились к эвакуации. Готовились основательно, хоть и поспешно, мечтая вывезти с собой все, что только возможно. «Бегите, бегите! — со злою радостью подумала Мария.— Здесь, на этой земле, места для вас уже не осталось!»

Южная бухта скрылась за Павловским мыском, и по берегу потянулись казенного цвета казармы, пакгаузы, госпитали. «Аскольд» подходил к причалу. Офицер-контрразведчик приказал Савелию Ивановичу руководить швартовкой, видимо не надеясь на моряцкие способности мичмана.

А Мария думала о судьбе «Аскольда». Белые, конечно, используют и его, пускаясь в бега. Выходит, в

Херсоне, на берегу Кошевой, они своими руками восстановили «Аскольд» для врангелевцев. Не будь пассажиров, можно было бы распорядиться пароходом посвоему. Скажем, затопить в море. Или взорвать котлы. А теперь поздно. Скоро «Аскольд» присоединится к тем транспортам, что торопливо грузятся в Южной бухте. И спасет жизни сотне-другой врагов.

Она с неприязнью посмотрела на пассажиров. Те оживленно поглядывали на берег, поверив по-настоящему наконец в спасение. Лишь скорбные, неподвижные лица друзей и родственников погибших напоминали о катастрофе, протягивали нить от хмурого пустынного моря и «Анакрии», ушедшей в пучину, к этому берегу. Но уцелевшие, опять превратившись в толпу, сплоченную общей участью, успели отгородиться невидимою стеной от скорбящих. Берег сейчас для них был воплощением всех надежд, а для познавших утрату — концом ее. Так же, как для аскольдовцев.

У борта, обняв сыновей-подростков, стояла седая женщина. И при виде их сердце Марии смягчилось. Что ж, они, аскольдовцы, поступили правильно: даже ради этих подростков стоило рисковать, жертвовать и собою, и пароходом. Им, этим юным, строить новую жизнь, им остается революция — и завещанием, и наследством. А «Аскольд» — бог с ним. Пусть драпают белые — побыстрее и навсегда. Люди построят новые пароходы, новые города и новую Россию. И, может быть, среди имен бойцов революции вспомнят когда-нибудь добрым словом и их, аскольдовцев...

Слухи, должно быть, распространяются даже в пустынном море. У пристани, у которой ошвартовался «Аскольд», собрались сотни людей, десятки извозчиков. Городовые, от которых Мария уже отвыкла, и казаки сдерживали толпу, пропуская к причалу лишь санитаров и каких-то должностных лиц. Возвышаясь над всеми, рослый священник призывал густым басом воздать благодарение богу за ниспосланное спасение терпящим бедствие в пути. И Мария опять не сдержалась, насмешливо спросила у офицера:

— Это за чье же здравие будут у вас молиться? За наше, что ли?

Офицер не ответил. Он облегченно вздохнул, когда ему сообщили, что прибыл новый экипаж «Аскольда».

Приказал мичману поскорее произвести смену — в кочегарке и у машины. Поинтересовался, на борту ли новый капитан судна. И флотский унтер-офицер, приведший команду, смущенно кашлянул:

— Так что разрешите доложить: сбежал, значит, капитан... Переметнулся, должно, к большакам.

Офицер покраснел, а штурман откровенно расхохотался. Тогда контрразведчик, стараясь неловкость укрыть за подчеркнутой строгостью, сказал:

— Прошу всех спуститься в кают-компанию.

Он посторонился, давая дорогу Савелию Ивановичу, но тот отрицательно качнул головой:

— Я пока еще капитан «Аскольда». И с мостика сойду последним.

На трапе Мария невольно задержалась: по узкому шкафуту плотно двигались пассажиры к сходням. Седая женщина — та самая, что стояла с подростками,— заметив ее, остановилась и неожиданно низко, в пояс, поклонилась Марии:

— Сохрани господь и помилуй вас...

И тотчас же узкий людской поток между надстройкой и бортом нарушился, сбился, замедлился, и пассажиры, сгрудившись у трапа, стали наперебой благодарить аскольдовцев:

— Век не забудем, родные...

— До смерти молиться будем за вас...

— Детям и внукам расскажем...

Мария растроганно кивала в ответ, пожимала руки, смущалась, когда женщины по-матерински благословляли ее. Потом, пересилив волнение, крикнула:

— Не забывайте, что к вам на помощь пришли красные моряки! Под флагом новой, советской, России!

Офицер-контрразведчик стремительно сбежал по трапу, заторопил моряков. И когда Мария входила в дверь коридора, с берега, из толпы встречающих, раздалось внезапно громкое и отчетливое:

— Спасибо, товарищи!

Толпа на берегу загудела, качнулась, но Мария уже ничего не видела: иллюминаторы в кают-компании были зашторены.

— Хотел бы я встретить вот так же последний свой час...— с тоскою, тихо, лишь для одной Марии, промолвил офицер. Но его расслышала не только Мария, ибо

тут же за спиною контрразведчика раздался суровый голос штурмана:

— Не выйдет, господин офицер! Вы не откликнулись на сигнал бедствия «Анакрии» и вышли в море, лишь обнаружив на той же волне нашу рацию. Такое не прощается никому!

Мария обернулась, чтобы встретиться со штурманом взглядом С грустью подумала о том, что совсем недавно сомневалась в нем, не до конца доверяла. А оказывается, обычная честность человека может быть такой же силой и верой, как партийная убежденность.

Постепенно в кают-компанию собрали весь экипаж «Аскольда». Сидел задумчиво Яремчук, устало глядели в подволок потные кочегары, приведенные сюда прямо от топок, не успевшие ополоснуться. Гаркуша, примостившийся рядом с Савелием Ивановичем, курил одну за другой самокрутки, с презрительным пренебрежением поглядывая на солдат-конвоиров. Казалось, поведи Савелий Иванович бровью — и боцман тотчас же бросится на этих солдат, расшвыряет их, открывая путь капитану «Аскольда» и экипажу к свободе. Но Савелий Иванович сидел неподвижно, сосредоточенно о чем-то думая, и Гаркуша недовольно морщился и снова курил — видать, чтобы злым табаком заглушить в себе ярость и рвущееся наружу буйство.

Гул на палубе парохода и у пристани смолк: видимо, и пассажиры, и встречавшие их разбрелись кто куда. Лишь изредка за переборками кают-компании раздавались чьи-то приглушенные шаги: на «Аскольде» теперь хозяйничала присланная врангелевцами команда. Но эти звуки, казалось, уже не могли нарушить как-то враз устоявшейся тишины — тишины, прерываемой только печальным сопением пара, словно сам «Аскольд» скорбил по своим плененным товарищам.

Сидели молча, каждый думал о чем-то своем. О чем, кто знает... Вон матрос из Алешек — тот, что когда-то в затоне мечтательно говорил о жене... Вон балагур из Каховки... Херсонские, збурьевские, прогнойские — думали, наверное, о семьях, о хатах родных и селах, затерянных меж плавней, лиманов и ериков. О детишках, что почти уже сироты; о женах, желанных и ласковых, что уже почти вдовы... Все море да море, долгие рейсы — и некогда было налюбиться, нарадоваться,

всласть наласкать ребятишек Все мечталось, все надеялось: вот приду из этого рейса, вот отплаваю навигацию... А теперь — нет впереди ничего, все позади: отлюбилось, отжилось, отмечталось. Тяжко, ох как тяжко еще живому раздумывать о себе как о покойнике. Даже не о себе — о близких. Именно им оставят дурацкие пули белогвардейцев унылую сиротскую долю да вдовью одинокую маяту, бедность и беспризорность в нетопленных хатах с прохудившимися крышами, нескончаемую заботу о хлебе, об одежонке, о лишней копейке... Им-то за что! Может, конечно, и не забудет сирот новая, народная власть. Да только и у новой власти пусто пока в карманах. Самой еще крепнуть и крепнуть да набираться сил...

И все ж, как ни тяжко теперь,— поступили правильно. Вона сколько жизней спасли! Правду сказал Савелий Иванович: невмоготу было бы жить, зная, что после твоей смерти люди будут плевать на твою могилу...

Может, и не об этом думали моряки — кто знает... Но не было ни в ком, это чувствовала Мария, ни сомнения, ни раскаяния, ни трепета перед врагом.

В кают-компанию вошел мичман, что-то зашептал на ухо офицеру-контрразведчику. Тот кивнул, и мичман обратился к Савелию Ивановичу:

— Господин шкипер, прошу подняться на мостик.

Савелий Иванович вздрогнул, беспомощно обвел взглядом аскольдовцев, ища поддержки, затем, вдруг решившись, ответил:

— Я уйду отсюда только вместе со всеми.

— Но вы обязаны сдать судно! — возмутился мичман.— Сообщить поправки приборов и инструментов!

— Сказано не пойдет — и баста! — разгневанно вступился за своего капитана Гаркуша.— Может, тебе еще сообщить, где сало лежит?

Как ни удручены были аскольдовцы, все же заулыбались. Мичман растерянно посмотрел на офицера, но тот сидел, опустив глаза. И мичман торопливо и оскорбленно вышел, а Гаркуша, уже не сдерживая себя, с вызовом спросил офицера:

— Скоро нас поведут отсюда?

— Очевидно, когда стемнеет.

— Не сладко, видать, живете, коли людских глаз боитесь. Хана вам по всем статьям. Крышка!

Однако невольно все покосились на иллюминаторы: темнело довольно заметно. За старыми, выцветшими шторами поблекли пятна дневного света, в углах помещения сгущались сумеречные тени, и эти углы становились потайными, отчужденными, как когда-то на мертвом «Аскольде» в Херсоне. Лица людей отдалились и сгладились, и каждый, казалось, жил уже сам по себе.

Сумерки страшили Марию; страшили своей природою разобщенности. Но не было ни сил, ни желания подняться и включить электричество. А другие об этом, наверное, просто не думали: последние часы с невеселыми думами удобнее проводить в темноте.

Приглушенный переборками, отдаленно, откуда-то с края света едва доносился медлительный колокольный звон. Может, Владимирского собора, может, какого другого... А ближе, в разных сторонах гавани, каждые полчаса — поспешно частя, вразнобой — вызванивали корабельные склянки; вызванивали пугливо, словно боялись нарушить военную настороженную тишину, делали это лишь по горькой необходимости и потому тут же торопились, глотая полутоны и эхо, опять обрести ее и замереть вместе с нею. В этой дробности и пугливости, чудилось, воплотилось непрочное и зыбкое бытие белого Севастополя.

Но склянки подгоняли время. После каждой из них аскольдовцы, не в силах совладать с собою, поглядывали на иллюминаторы: темень за ними плотнела быстрей, чем хотелось бы, переходя неотвратимо в ночь.

И тогда поднялся штурман. Взволнованно, по-мальчишески робко и в то же время торжественно, он срывающимся голосом произнес:

— Товарищ Мария!

Замерли моряки. В темноте фигура штурмана казалась расплывчатой и потому огромной. Глядя на нее, наежились, оцепенев, часовые.

— У меня не было возможности сказать вам об этом раньше... Но теперь я не стану скрывать. Зачем? Вы удивительная и прекрасная женщина!

Кто-то из солдат-часовых недвусмысленно хмыкнул, и в тот же миг остервенело взвился Гаркуша:

— Ты, гнида! Ты никогда не видел, как боцманский кулак входит в глотку, а выходит в потылицу? Замолкни?

— Не обращайте на них внимания, боцман,— сказал уже спокойнее штурман. – На них я плюю, а вас, братьев-моряков, не стесняюсь: вы поймете меня... Товарищ Мария, вы никогда не слыхали о добрых моряцких ветрах? Случается, заштилеет, обезветреют паруса, и судно неделями болтается в море без хода, обрастая коростой ракушек и водорослей. Время без движения исчезает, и уже не веришь тогда, что достигнешь когда-нибудь берега, родины, жизни. Кажется морякам: навечно застряли меж небом и морем, меж прошлым и будущим... Но паруса вдруг сами набиваются таинственным ветром, и тот выносит судно к родным берегам. К жизни! Не зря матросы такие ветры назвали — моряцкими...

Он на миг примолк, видимо собираясь с духом, затем негромко и доверительно, словно в кают-компании не было никого, кроме него и женщины, признался:

— Я был очень похож на судно, потерявшее берег... Но на «Аскольде» вдруг появились вы. Спасибо вам за все, спасибо, добрый и отогревший сердце моряцкий ветер! Впервые в жизни произношу это слово и радуюсь ему, как ребенок: я люблю вас, Мария.

Он еще какое-то время раздумно стоял, потом молчаливо сел. Повисла напряженная тишина, в которой было слышно дыхание моряков. Где-то поблизости от «Аскольда», попыхкивая мотором-боллиндером, прошел стороною катер, и на волне, разведенной им, всхрапнул штормовым ревуном и тотчас же захлебнулся рейдовый буй. И этот звук, тоскливый и низкий, точно помог Марии очнуться. Она поднялась, медленно подошла к штурману и молча опустилась в кресло рядом с ним. И все облегченно вздохнули, а боцман Гаркуша не удержался и с нескрываемой грустью сказал:

— Эх, жаль, нету моей Галины: хорошую песню спела бы нам...

В девятом часу ранней ноябрьской ночи их по одному проводили в трюм небольшой баржонки, приткнувшейся к борту «Аскольда». Только Мария и штурман, не разнимая рук, спустились по трапу вместе.

Потом они слышали, как подошел буксир, как долго и хлопотливо заводили на баржу канат. Буксир наконец шумливо взъерошил воду винтом и потащил тюремную баржу в ночь.

Мария и штурман стояли рядом, держась по-прежнему за руки, прижавшись плечом к плечу.

— Вы очень понравились бы маме,— говорил он мечтательно, тихо. — Вдвоем вы встречали б меня на причале из рейсов... Нет, лучше бы — вы одна. Я становился бы спиною к морю, заглядывал бы в ваши глаза, по которым истосковался, и вы разрешали бы мне смотреть в них и час, и два, до тех пор, пока не садилось бы солнце. Правда?

— Правда,— улыбнулась она в ответ.

А баржа-тюрьма покорно плелась за буксиром, пересекая бухту, туда, где в темени, приближаясь, расплывчато-смутно чернели, как тени, глухие и мрачные бастионы Константиновского равелина.

* * *

Я люблю современный Херсон. Его новостройки, проспект Ушакова, что протянулся от Днепра до степи, неторопливую суету вечерней Суворовской. Люблю глубину Заднепровья, которая открывается взору с горы... Марку херсонских заводов знают по всей стране. Да и только ли по стране? На рейде и у причалов, у берега Кошевой, где когда-то стоял «Аскольд», швартуются суда из самых различных стран. А корабли, сошедшие с херсонских стапелей, бороздят моря всей планеты. Эти корабли намного красивее тех, о которых мечтал в голодные годы гражданской войны и разрухи председатель херсонской Чека.

Я люблю понизовные местечки и села. Их улочки в акациевой истоме, дома, увитые виноградом, первозданную тишину лиманов и ериков — тишину, которую лишь изредка нарушит шуршание камышей под залетным порывом ветра да короткий и резкий всплеск рыбы... В этих местечках и селах жило большинство аскольдовцев.

Я люблю Севастополь. Я знал его летом сорок первого — с пятнистыми камуфлированными домами, с грохотом корабельных зениток и свистом вражеских бомб. Я знал его в сорок пятом: груды камней и железа, остовы павших в бою судов и бесконечные пары тральщиков на горизонте. Сейчас Севастополь — красивейший город в мире. В него влюбляются сразу и

навсегда. Стоит пройти по его обновленным улицам, взглянуть на Дворец пионеров, постоять над морем на террасе городского театра, чтобы почувствовать: именно такой флотский город, светлый и праздничный, видел в своих мечтаниях Грин.

Когда я попадаю в Севастополь, я прежде всего иду на кладбище Коммунаров. Здесь, среди героев, под братским памятником покоится экипаж корабля. С этим экипажем — на другом корабле и в других широтах — я когда-то служил... Потом я еду на Малахов курган, к вечному огню Славы. А следующим утром на катере отправляюсь за Константиновский равелин, в Учкуевку. Здесь в ноябре двадцатого года были расстреляны аскольдовцы. Капитан Савелий Иванович, машинист Яремчук и боцман Гаркуша, матросы и кочегары. Мария и штурман.

Я брожу по выбеленным зноем пескам, приглядываюсь к каждому кустику, к каждой травинке: не здесь ли? Ведь никто никогда не знает, где хоронят расстрелянных...

Несколько лет спустя после второй мировой войны в зарубежных газетах промелькнула заметка о том, что в Дании умер никому неизвестный старик капитан. Из оставшегося после него дневника выяснилось, что зверобойное судно, на котором в молодости служил капитан, находилось вблизи знаменитого «Титаника» в ночь его гибели. Судно могло бы спасти несколько сотен жизней, но зверобои не подошли к «Титанику»: они возвращались с промысла в запретном районе, и им, попади они в руки полиции, грозила тюрьма или штраф. Этот случай, оказывается, мучил затем всю жизнь старика капитана... Во время войны было слишком много утрат, и послевоенный мир не обратил внимания на заметку. Но если бы я оказался в Дании, я первый бы плюнул на могилу этого капитана!

А у аскольдовцев нет могилы. Некуда возложить ярко-красные маки, что буйно цветут по весне в Крыму. Их могила — весь материк, со звездами в небе и морем до горизонта.

Я подолгу сижу у моря. Волны лениво накатываются на берег, горизонт очерчен сгустившейся синевой, и в блеклом небе белые облака, громоздкие, как каравеллы, величественно плывут куда-то в каркинитскую

даль... Я знаю, что море бывает иным. Свирепым и необузданным. Из края в край океана проносятся грозные шквалы, кромсая небо и вздыбливая валы. Тогда перепонки ушей радистов назойливо долбит какое-то женское имя, которым нарекли ураган.

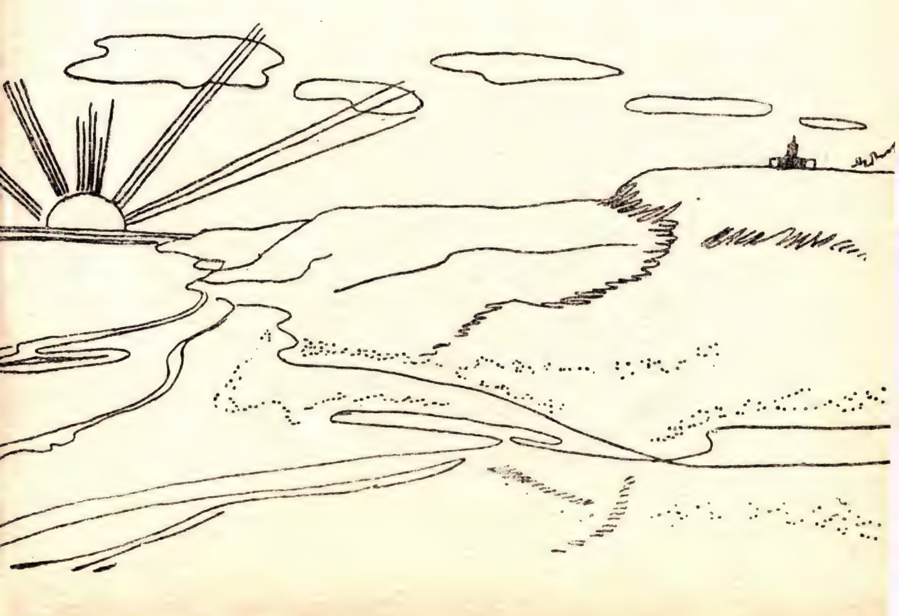
У человеческих ураганов тоже женские имена: Революция, Борьба, Свобода. Где б ни возникали они — в России или в Испании, во Вьетнаме или на Кубе, в Анголе или в Алжире,— сердцами людей двигают светлые образы: Надежды и Веры.

И потому я верю в добрые ураганы. В те, что наполняют паруса попутным стремительным ветром и приносят иссохшим землям дожди. После которых оживают рощи и плантации, одаривая щедрыми урожаями, нагуливаются косяки рыб на обильных кормах и добреют глаза женщин, дождавшихся с моря возлюбленных. Такие ураганы требуют добрых имен, согретых нашей памятью и любовью.

И если вам встретится на пути очистительный шквал, преобразующий море и землю, пусть не останется без ответа скромная просьба моя, обращенная от имени павших аскольдовцев:

— Люди, назовите ураган Марией!

1966—1967
Киев — Одесса



СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ КУДИЕВСКИЙ
НАЗОВИТЕ УРАГАН МАРИЕЙ
Повести

Редактор **Гончарук Я. В.**
Художник **И. З. Мартянов**
Художественный редактор **М. П. Вуек**
Технический редактор **Л. М. Бобырь**
Корректор **А. Л. Шиманская**

Сдано на производство 8/1 1969 г. Подписано к печати 19/V 1969 г. Формат 84×108 1/32. 6 5/8 физ.-печ. лист., 11,13 усл.-печ. лист., 11,39 уч.-изд. лист. БФ 05233. Тираж 30 000. Зак. 5467. Цена 48 коп. Издательство «Радянський письменник», Киев, бульвар Леси Украинки, 20. Одесская типоофсетная фабрика Комитета по печати при Совете Министров УССР, ул. Дзержинского, 24.



48 коп.




Константин Кудиевский
НАЗОВИТЕ УРАГАН „МАРИЕЙ“